С. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

ЭПИЗОДЫ

«ЗАРЯ»

С. Л. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

ЭПИЗОДЫ

«ЗАРЯ»
ЛОНДОН - КАНАДА
1978

S. L. WOYCIECHOWSKI

THE EPISODES

ИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНОЕ ДЕЛО
ЗАРЯ
ZARIA PUBLISHING INC.
73 BISCAY ROAD
LONDON, CANADA
N6H 3K8

ПРЕДИСЛОВИЕ

В жизни каждого человека случаются дни, запечатлевшиеся в памяти полнее остальных. Было их немало и на моем пути, но не все могут быть рассказаны — одни потому, что Россией все еще правят поработившие ее коммунисты, а другие во избежание превращения рассказа в автобиографию.

Поэтому в эту книгу включены эпизоды, которые, в свое время, произвели на меня особенно сильное впечатление либо в ранней юности, либо в значительно более поздние годы. С ними тематически не связаны составляющие вторую часть этой книги статьи об Екатеринбургском цареубийстве и об отношении А. Ф. Керенского к масонству. Надеюсь, что читатели найдут в них сведения, ранее им не известные.

Считаю необходимым поблагодарить издательство «Заря» за предоставление мне возможности увидеть эту книгу напечатанной.

С. Л. Войцеховский

1978 г.

МОЛЕБЕН

В начале шестидесятых годов выходивший в Брюсселе журнал «Родные Перезвоны» опубликовал часть воспоминаний князя Владимира Андреевича Друцкого-Соколинского. Я превосходно помню их автора. В небольшом городе Могилеве-на-Днепре, где он был вице-губернатором, трудно было его не заметить. Высокий, полный, румяный человек, он казался воплощением силы и здоровья. К тому же, он был там единственным обладателем придворного звания — камер-юнкером Высочайшего Двора — и, в табельные дни, обращал на себя внимание треуголкой с белым плюмажем и раззолоченным мундиром, по сравнению с которым тускнело скромное шитье на воротниках и обшлагах остальных носителей власти.

В 1915 году я был юношей, готовившимся к поступлению в одно из самых необыкновенных учебных заведений императорской России — Нижегородский дворянский институт — и знавшим все оттенки ее военной и гражданской табели о рангах. Поэтому князь В. А. Друцкой-Соколинский запечатлелся в моей памяти в его придворном и чиновном облике, хотя позже мне пришлось встретиться с ним в освобожденном Добровольческой армией от большевиков Киеве и даже стать его младшим сослуживцем в управлении главноначальствующего Киевской областью, генерала А. М. Драгомирова.

x

Упомянут в его воспоминаниях тот исторический день — 23-го августа 1915 года — когда в Могилев прибыл император Николай Александрович, постановивший, в трудные для

России дни отступления и поражений, заменить великого князя Николая Николаевича во главе вооруженных сил страны.

Это решение вызвало тогда и продолжает вызывать противоречивую оценку. Одни — как большинство министров того времени — ему противились. Другие полагают, что переезд монарха в Ставку облегчил революционерам достижение их цели и лишил правительство, в февральские дни 1917 года, воли и способности к сопротивлению. Третьи, что возглавлением военного отпора врагу император остановил германское наступление и способствовал подготовке той победы, которая была России суждена, не случись революции.

Судить тогда об этом я не мог, а включение возникшего позже мнения в воспоминания о прошлом кажется мне неуместным.

x

В губернаторский дом, ставший царской резиденцией, император переехал не сразу. Он дождался отъезда ставшего наместником Кавказа великого князя Николая Николаевича, но в храм, где его ждал молебен, проследовал немедленно.

Заложенный в 1780 году императрицей Екатериной Второй в память ее встречи с австрийским императором и, в наши дни, разрушенный большевиками редкий памятник русского «классического» зодчества — могилевский собор — был очень не похож на ранее сооруженные в том же городе православные церкви, которым остроконечные башни высоких колоколен и лепные гирлянды внешних украшений в польско-литовском вкусе придавали облик католических костелов.

Невысокое, светлое здание собора было осенено шатрообразным куполом, над которым возвышался золотой, четырехконечный крест. Белые колонны поддерживали крышу над немногими ступенями спускавшейся к Днепровскому проспекту широкой лестницы, от которой — как два крыла — отделялась, с обеих сторон, закругленная колоннада, обрамлявшая созданную расширением проспекта площадь. Напротив — по другую сторону улицы — стояла сохранившая свое поль-

ское название городская «брама», то есть высокие, но узкие ворота, за которыми некогда начинались поля и леса.

Внутри собор был украшен низким, но ярким иконостасом, на котором его создатель, знаменитый Боровиковский, придал двум святым — Екатерине и Иосифу — сходство с участниками могилевской встречи. Над престолом, в алтаре, на малахитовых колонках, стояла сень, изображавшая синее небо, усеянное золотыми звездами.

x

Упомянув духовенство, встретившее императора в соборе, князь Друцкой-Соколинский назвал двух иерархов — правившего епархией архиепископа Константина и его викария, епископа Варлаама. Внешне и душевно, эти архиереи были непохожи.

Архиепископ Могилевский и Мстиславльский Константин был человеком грузным, важным. Он носил шелковые рясы и разъезжал по городу в карете. Когда он появлялся, с очередным визитом, у моих родителей, его принимали в гостиной, а разговор был официальным и натянутым.

Епископ Гомельский Варлаам был скромен, худощав. Он казался болезненным, но выстаивал безконечные богослужения в Братском монастыре, где всенощное бдение длилось часов шесть. У нас он бывал запросто, просиживал вечера за чашкой чая и говорил о многом, откровенно и прямо. После революции он остался православным. Архиепископ Константин был, одно время, обновленцем.

x

Нельзя было это предвидеть, когда он, в могилевском соборе, с крестом в руках, встретил вошедшего в храм монарха и приветствовал его патриотическим словом.

Во время этой речи я стоял от архиепископа шагах в пяти, но — признаюсь — его не слушал. Все мое внимание было обращено на императора. Его я видел раньше, в Крыму, где в 1913 году он отдыхал от утомительных торжеств, связанных с трехсотлетием Дома Романовых, но в Могилеве нас впервые не разделяло расстояние.

Он — казалось — был внимателен к приветствию архиепископа, но одно движение выдавало несомненное волнение. Несколько раз, во время обращенной к нему краткой речи, он поднимал оставшуюся в перчатке левую руку и прикасался к ней правой. В этот исторический день, отразившийся на судьбе России, я заметил в нем утомление и печаль.

x

Начался молебен. Император и его свита прошли вперед. Я вторично их увидел лишь тогда, когда — после положенного многолетия — они направились к выходу. За ними устремились те, кто был в собор допущен — чины Ставки, представители союзников и немногие могилевцы, обладатели билетов, дававших право посещать богослужения в семинарском храме, ставшем церковью верховного главнокомандующего. Меня они — в полном смысле слова — вытолкнули на площадку соборной лестницы. Обернувшись, чтобы найти моих родителей, я не сразу поверил глазам, увидев за собой великого князя Николая Николаевича.

Накануне он еще был тем «верховным», перед которым — как утверждали могилевцы — трепетали подчиненные и в котором многие, несмотря на военные неудачи, продолжали видеть залог будущей победы. Теперь он стоял на пороге храма, всеми забытый и никому не нужный.

x

За долгие годы моей жизни я видел немало случаев возвышения и падения людей, становившихся, на короткое время, кумирами народов и преданых затем проклятию и поношению. Еще чаще видел я неблагодарность и трусость малодушных — отвернувшихся от тех, кого в жизни постигло крушение.

Однако, всякий раз, когда я становлюсь свидетелем этих человеческих свойств, в памяти возникают белый собор, летний день и острый профиль великого князя над оттеснившей его толпой.

ОПЕЧАТКА

В 1920 году Б. В. Савинков основал в Варшаве ежедневную газету «Свобода», переименованную — после его высылки из Польши — в «За Свободу». Ставший тогда ее редактором Д. В. Философов был, как и Савинков, врагом большевиков, но, в то же время, противником эмигрантов, веривших в возможность восстановления монархии в России. В резких статьях он одинаково не щадил коммунистов и «реакционеров».

Этим он мог бы привлечь сердца существовавшей тогда в польской столице небольшой русской демократической группы, состоявшей из двух-трех социалистов и нескольких единомышленников П. Н. Милюкова, но едким сарказмом Философов их оттолкнул. Об единственном варшавском меньшевике Ю. А. Липеровском, как-то совмещавшем до революции принадлежность к социал-демократической партии с должностью воспитателя в кадетском корпусе, он написал, что голову ему заменяет медный таз, а варшавского корреспондента парижских «Последних Новостей» А. П. Вельмина прозвал «помощником нотариуса» и не упускал случая прибавить эту кличку к его имени. Не мудрено, что демократическая группа его возненавидела. Создалось положение, в котором газета могла назвать друзьями всего лишь нескольких бывших сотрудников Савинкова по Народному Союзу Защиты Родины и Свободы.

Толчком к выходу из этой изоляции стал для нее — в июне 1927 года — выстрел Б. С. Коверды в советского посла Войкова. Действовавший тогда в Польше закон об ускоренном судопроизводстве предусматривал за политическое поку-

шение только два наказания — смертную казнь или пожизненное заключение. Русских эмигрантов это, конечно, взволновало. Они захотели помочь Коверде подготовкой его защиты. Почин был сделан председателем Российского Комитета в Польше В. И. Семеновым, человеком состоятельным и, поэтому, независимым. Нужно было спешить, так как, по тому же закону, суд обязан был вынести приговор в семидневный срок.

Русский виленчанин, адвокат П. В. Андреев, значительно позже — в 1940 году — арестованный в Вильне чекистами, вывезенный ими в Россию и пропавший без вести в казанской тюрьме, вызвался приехать в Варшаву для защиты подсудимого. По просьбе Семенова, польский юрист, бывший киевский присяжный поверенный Мариан Недзельский согласился в этой защите участвовать. Все казалось налаженным, когда Философов неожиданно сообщил, что хочет встретиться со мной по очень срочному делу. Предложить эту встречу Семенову он не мог, так как однажды высмеял в статье его небольшой рост, полноту и близорукость.

Я знал редактора «За Свободу» только по наслышке. Пропасть, отделявшая его от консервативной части русских эмигрантов, была настолько глубока, что за первые шесть лет моей эмигрантской жизни в Варшаве мы ни разу не встретились. Услышав, однако, что речь будет о Коверде и его судьбе, я ответил, что немедленно приеду.

Разговор состоялся в тесной, заваленной книгами и газетами комнате, которую Философов снимал в квартире не то немецкой, не то еврейской семьи. Сразу, без обиняков, он сказал, что участие Недзельского в защите будет вызовом правительству Пилсудского, так как этот адвокат — член ненавистной маршалу, оппозиционной национал-демократической партии. Он прибавил, что на снисходительность суда можно надеяться лишь в том случае, если, кроме Недзельского и Андреева, защитниками будут варшавские адвокаты Францишек Пасхальский и Мечислав Эттингер. Он попросил меня срочно сообщить это Семенову — не как ультиматум, а как совет человека, не равнодушного к судьбе Коверды.

Семенова рассказ об этом разговоре возмутил. Против Эттингера он не возразил, но от приглашения Пасхальского отказался наотрез, назвав его «руссофобом, революционером и масоном — олицетворением сил, ополчившихся на Россию в 1917 году». Успокоившись, он все же попросил меня у Пасхальского побывать.

Я это сделал на следующий день — не один, а с Философовым. Украшенная — в лучшей части города — коллекцией великолепного фарфора, богатая квартира близкого к правящим польским кругам адвоката не вязалась с представлением о левизне и революционности. Договорились мы легко. Кем-то, очевидно, предупрежденный, он не удивился обращенной к нему накануне судебного разбирательства просьбе стать защитником Коверды, а о Недзельском не сказал ни слова. Мне это показалось предзнаменованием того, что на смертной казни прокурор настаивать не будет. Суд приговорил подсудимого к пожизненному заключению, но обратился к президенту Игнатию Мосцицкому с просьбой о замене пятнадцатью годами каторжной тюрьмы. Президент это отклонил, но 3-го мая 1928 года приговор был смягчен объявленной в Польше амнистией.

x

Дело Б. С. Коверды стало началом постепенного сближения редактируемой Д. В. Философовым газеты с теми, кого он недавно обвинял в реакционности. Нападки на В. И. Семенова и возглавленный им Комитет прекратились.

В моей жизни это лето было трудным. Я только что испытал — в апреле 1927 года — тяжкий политический удар — разоблачение советской провокации в том якобы тайном Монархическом Объединении России, с которым был связан и которое вошло в историю под своим «конспиративным» обозначением «Трест».

Сознавая мою неопытность и неосторожность, я — после этой катастрофы, постигшей не только меня, но и созданную генералом А. П. Кутеповым боевую организацию — стал снисходительнее к тем, кого раньше осуждал. Отношение к

Философову смягчилось тем более, что я был ему признателен за заботу о Коверде. Побывав в редакции «За Свободу», я познакомился с ее сотрудниками и стал членом созданного ими русского Литературного Содружества.

Повлияло на мои отношения с редактором газеты и сделанное им мне в апреле 1928 года предостережение о возможных последствиях столкновения моего брата Юрия с несколькими членами Объединения Русской Молодежи в Польше, обвинявшими его, как председателя, в «диктаторских замашках». Этот конфликт — по словам Философова — превратился в травлю, начатую двумя молодыми людьми, оказавшимися, много лет спустя, в захваченной коммунистами Польше, советскими агентами.

Философов, предвидел, что это может толкнуть Юрия на необдуманный поступок и не ошибся — 4-го мая 1928 года мой брат выстрелил в Варшаве в советского торгового представителя Лизарева, легко его ранил и был приговорен за это к десятилетнему, позже сокращенному, заключению, которое отбыл в Мокотовской тюрьме.

X

После этого покушения на жизнь советского «дипломата» польское правительство закрыло Российский Комитет и выслало В. И. Семенова во Францию. Эмигранты лишились заступника, не жалевшего времени и средств на нужную им правовую и иную помощь.

Хотелось это исправить, но заняться общественными делами я не мог, так как, вскоре после разоблачения Треста, генерал Кутепов назначил меня своим резидентом в Варшаве для связи с польским генеральным штабом. В январе 1930 года, после похищения генерала чекистами, я понял, что конспиративная борьба с коммунистическими захватчиками власти в России ведется неравными силами, поглощает много напрасных жертв и должна быть заменена другим подходом к освободительной задаче. В этом мнении меня невольно укрепил генерал А. М. Драгомиров, которому ставший после Кутепова возглавителем Русского Обще-Воинского Союза

генерал Е. К. Миллер доверил руководство боевой организацией. Он потребовал от меня действий, не только неосуществимых в варшавской обстановке, но и несовместимых с тем доверием, которое мне, как представителю Кутепова, оказывал генеральный штаб. Попытка переубедить нового начальника в нецелесообразности и — в моем случае — неблаговидности «конспирации на два фронта» не удалась. Из организации я выбыл и это заставило подумать о возобновлении прерванной высылкой В. И. Семенова политической и юридической защиты бесподданных русских эмигрантов. Моим замыслом я поделился с двумя деятелями, которые по возрасту, опыту, положению в дореволюционной России и значению в варшавской русской колонии были старше и авторитетнее меня — с генералом П. Н. Симанским и с Н. Г. Булановым.

Симанский был по происхождению дворянином и помещиком; по образованию — офицером генерального штаба, а по призванию — историком, автором монографии о Суворове и многих научных трудов, а в эмиграции — сотрудником польского журнала «Беллона», посвященного военной истории и стратегии.

Буланов, коренной москвич, был до революции гласным городской думы, представителем именитого купечества, разделявшим умеренные взгляды октябристов. В годы польско-советской войны он был в Варшаве одним из членов созданного Савинковым Русского Политического Комитета, от имени которого подписал мертворожденное соглашение с Петлюрой, а после войны стал там же преуспевающим строительным подрядчиком.

Оба были людьми набожными, консервативной и, в то же время, прагматической складки, понимавшими неизбежность компромиссов, на которых строится любая не тоталитарная общественная жизнь. Оба присоединились к моему мнению о необходимости создания в Польше нового эмигрантского Комитета, но не могли ответить на вопрос — как найти приводной ремень к тем польским правительственным учреждениям, от которых зависело достижение намеченной

цели. Мое предположение, что, при очевидном желании Философова найти общий язык с «правыми», помочь может именно он, показалось им верным. Переговоры с редактором «За Свободу» были поручены мне.

Был составлен меморандум, объясняющий наши намерения. Философов передал его начальнику восточного отдела министерства иностранных дел Тадеушу Голувко, понимавшему — в отличие от некоторых других влиятельных поляков — что пестрый этнический состав населения Польши обязывает ее к удовлетворению хотя бы наиболее насущных нужд национальных меньшинств. Русские эмигранты, с точки зрения международного права, были иностранцами, но Голувко признал, что существование их представительства будет полезно не только им, но и польской власти. Он убедил в этом министерство внутренних дел, утвердившее в 1931 году устав Российского Общественного Комитета в Польше. Его первым председателем стал Буланов, а одним из членов правления — Философов.

X

Возникновение этой коалиции предрешило судьбу газеты, основанной Савинковым, но ее замена новой, названной «Молва», стала возможной не сразу. Нужно было договориться о программе, о редакции, сотрудниках и типографии. Подразумевалось само собой, что Философов останется издателем.

Вероятно, не без помощи Голувки ему удалось получить согласие распространенной польской газеты «Экспресс Поранны» на использование ее великолепных, только что доставленных из Дрездена ротационных машин, позволивших украсить газетные листы новинкой — цветными иллюстрациями.

Никогда — ни раньше, ни позже — русская эмигрантская газета не печаталась в столь благоприятной обстановке. Глаз, привыкший к тесным, темноватым помещениям небольших типографий, к пятнам черной краски на полах и стенах, к обрывкам грязной бумаги по углам, не мог наглядеться на

высокий, просторный, светлый зал, на его безупречную чистоту и на чудесные машины, выбрасывавшие на стоявшие перед ними столы аккуратно сложенные вчетверо экземпляры газеты.

По соглашению Философова с «Экспрессом Поранным» первый номер «Молвы» появился 6-го апреля 1932 года. К этому дню еще не все было готово. Не была снята квартира для редакции. Не был даже установлен ее состав. Поэтому в первом номере он не был указан, а написанная Философовым передовая статья им подписана не была. Она отметила, что газета «начинает свое бытие во дни, когда русское зарубежье переживает тяжелый моральный кризис».

«Причины кризиса — утверждала статья — сложны и многообразны. Питает его, главным образом, насильственный отрыв зарубежья от родины, слишком затянувшееся пребывание на чужбине. В этой нездоровой атмосфере люди зачастую теряют бодрость и энергию и, что особенно страшно, должную сопротивляемость разлагающим элементам».

Поэтому газета — написал ее издатель — «должна быть фактором созидающим и ведущим, обращать свой голос ко всем живым силам зарубежья, подымать их энергию, бороться с их усталостью и распыленностью, а потому нашей главной задачей мы считаем действенное объединение активных групп эмиграции. Все непримиримые противники коммунизма и большевизма, от умеренного монархизма до крестьянского демократизма с республиканским уклоном, по глубокому нашему убеждению могут и должны быть нашими союзниками и соратниками в борьбе за свободную Россию».

От мнений Савинкова и прежних взглядов самого Философова в этом призыве к созданию широкой политической коалиции с участием пусть только «умеренных» монархистов не осталось, таким образом, ничего.

«Новую Россию — сказано было затем в статье — мы мыслим, как Россию-Империю, народы которой равноправны, граждане которой ограждены равным для всех законом. Ни реставрации, политической или социальной, ни какого-либо соглашательства с коммунизмом и большевицким правитель-

ством. В новой России, признающей нынешнее территориальное устроение Европы, должна осуществляться мирная созидательная работа, безмерно трудная после долгих лет большевицкого разгрома». Упомянуто было и внимание, которое газета хотела уделить «всем молодым начинаниям в области общественной и культурной».

x

Несколько дней спустя все было улажено и в заголовке, рядом с названием газеты, были перечислены члены редакционной коллегии и самой редакции. Председателем коллегии стал, конечно, Д. В. Философов, а ее членами — В. В. Бранд, Е. С. Вебер-Хирьякова, Г. Г. Соколов и я. В редакцию — кроме Соколова и меня — вошел А. И. Федоров.

Трудно было бы тогда предсказать судьбу создателей новой газеты. Философов скончался в августе 1940 года, в Отвоцке под Варшавой, после долгой и мучительной болезни, причинившей ему тяжкие страдания. Он был погребен на варшавском православном Вольском кладбище, но могила не сохранилась.

В. В. Бранд был из всех сотрудников «Молвы» наиболее близким к Философову человеком. Их связывало прошлое участие в савинковском Народном Союзе Защиты Родины и Свободы. После его разгрома, Бранд не сошел с пути политической конспирации. Он был, одно время, связан с Братством Русской Правды, а затем стал одним из ведущих членов Национально-Трудового Союза Нового Поколения. В 1941 году этот Союз, слегка изменивший к тому времени свое название, командировал его, как многих других своих членов, на занятую германскими войсками русскую территорию. В марте следующего года он скончался в Смоленске от тифа.

Е. С. Вебер-Хирьякова и ее муж, А. М. Хирьяков, которого иногда называли «другом Льва Толстого» потому, что в молодости он, бросив службу во флоте, стал толстовцем и бывал в Ясной Поляне, приехали в Варшаву из Парижа по приглашению Философова, который расчитывал на их помощь в редакции «За Свободу». В этом он, отчасти, просчитался

— душевно и телесно бодрый, несмотря на немалый возраст, Хирьяков был литератором, но не журналистом. В Литературном Содружестве он удивлял слушателей необыкновенной памятью — мог прочитать наизусть не только несколько лирических стихотворений, но и целую поэму. Все злободневное занимало его мало. Зато неоцененимой помощницей редактора стала молодая, по сравнению с мужем, Е. С. Вебер-Хирьякова, соединившая свою девичью фамилию с фамилией супруга. Она угадывала настроение Философова, понимала вызванную скрытой причиной сложность его характера, при которой ладить с ним было не легко.

Жизнь ее оборвалась трагически. В октябре 1939 года, на третий или четвертый день германской оккупации Варшавы, она отравилась и пыталась отравить свою семилетнюю дочь — красивую, похожую на отца девочку, которую родители называли Елочкой. Сделала она это потому, что была еврейкой и понимала, чем ей и ребенку угрожает гитлеровский расизм. Девочка, однако, выжила, а после смерти отца, скончавшегося в 1942 году, ею занялись польские монахини. В католическом монастыре она благополучно дождалась конца войны.

Г. Г. Соколов не воспользовался в июле 1944 года, при приближении советских войск к Варшаве, предоставленной русским эмигрантам возможностью эвакуироваться на Запад. Он остался в захваченной коммунистами Польше, сговорился с ними и был «избран» председателем советофильского Русского Благотворительного Общества, но был им недолго. Запутавшись в каких-то сделках, он был обвинен в спекуляции и арестован. Его дальнейшая судьба мне не известна.

А. И. Федоров во-время выехал из Варшавы и прожил, после войны, несколько лет во французской зоне Германии. В 1950 году он переехал оттуда в Соединенные Штаты, где стал позже преподавателем русского языка и профессором Ротгерского университета в Камдене.

x

По печальному опыту я знал, как может повредить газете опечатка. Поэтому в тот день, когда впервые в «Молве» должны были быть названы члены редакционной коллегии, я предупредил корректора А. С. Домбровского, что хочу увидеть «полосы», то есть сверстанные страницы, до их сдачи в печать.

Домбровский — бывший армейский пехотный офицер и георгиевский кавалер — был человеком необыкновенно добросовестным. При большой семье, жилось ему нелегко, но печатное дело он любил и работал для русской газеты, хотя, как польский гражданин, мог легко найти более прибыльное занятие. На него можно было положиться, но — тем не менее — когда он по телефону сообщил мне, что номер готов, корректура проверена и за отсутствие опечаток он ручается, я настойчиво повторил просьбу прислать «полосы» на просмотр.

Все, действительно, было набрано безошибочно — и статьи, и информации, и объявления. Я уже хотел подтвердить это моими инициалами, но взглянул на заголовок и — о, ужас, — увидел, что в словах «редакционная коллегия» пропущена одна буква.

Случайно или сознательно, кто-то сделал ошибку, которая — не будь она исправлена — вызвала бы злорадную насмешку тех, кто не мог простить Философову поворот редакционного руля направо. Крупными буквами над его фамилией и именами его новых сотрудников было напечатано:

— Реакционная коллегия.

ДОКТОР

15-го июня 1927 года варшавский окружный суд признал Б. С. Коверду виновником смерти советского полномочного представителя в Польше Войкова. Сокращенный через год амнистией срок заключения осужденный отбыл в древнем городе, который немцы называют Грауденцом, а поляки — Грудзиондзом.

Тысячу с лишним лет стоит он на высоком, правом берегу нижнего течения Вислы и с 1291 года самоуправлялся на основе Магдебургского права. Его защитником и покровителем был тогда Тевтонский орден, постепенно германизировавший как Восточную, так и Западную Пруссию, и вытеснявший оттуда коренное, славянское население. Одним из последствий этого давления стало, в конце XIII века, появление в Москве знатного выходца «из Прусс» Ивана Дивиновича, родоначальника Романовых.

Для обороны своих владений рыцари воздвигнули на крутом холме, с которого открывается великолепный вид на реку и ее левый берег, укрепленный замок, по которому это место было названо Шлоссбергом. От него, в наши дни, сохранилась лишь одна сторожевая башня — Климмек.

В последний раз военное значение города подтвердилось в 1807 году, когда ставший прусским фельдмаршалом потомок французских гугенотов, барон Гильом Ренэ де л'ом де Курбьер, выдержал шестимесячную осаду и успешно отразил попытки Наполеона вынудить его к капитуляции.

Задолго до этого эпизода Грауденц испытал немало перемен, из которых две особенно на нем отразились — в 1446 году он перешел из-под власти германских рыцарей во

владение Польши, а в 1772 году, при ее разделе, достался Пруссии и принадлежал ей 146 лет, до поражения Германии в первой мировой войне. За полтора столетия он был онемечен, но Версальский договор, вызвавший исход немцев с отошедшей к новой Польше территории, это изменил. Когда туда из Варшавы, под сильной охраной, привезли Коверду, бывший Грауденц вторично был польским Грудзиондзом. Его немецкий облик сохранился лишь в архитектурной старине и в некоторых обычаях.

x

В годы заключения Коверды я навестил его в тюрьме несколько раз. Каждое свидание нуждалось в предварительном разрешении варшавского прокурора. Мне ни разу не отказали.

Сообщение польской столицы с Грудзиондзом было очень неудобным. Можно было воспользоваться кружным путем, с пересадкой в Торне, или прямым поездом, отходившим вечером с окраины Варшавы и черепашьим шагом, с бесчисленными остановками, добиравшимся после полуночи к моей цели.

Деться в это время было некуда. Приходилось сидеть до утра в высоком зале вокзала, построенного прочно, как строили в старой Германии. Ее напоминали стены, облицованные темным деревом, и такие же темные, дубовые скамейки и столы, но там, где прежде, вероятно, висели портреты императора Вильгельма и князя Бисмарка, их заменили Пилсудский и президент Мосцицкий.

Когда часовая стрелка приближалась к шести, за стойкой появлялся буфетчик, а, вслед за ним, в зал торопливо входили или, точнее говоря, вбегали съезжавшиеся в город обитатели ближайших окрестностей. Они наспех опрокидывали две-три рюмки водки, запивали их пивом или чашечкой крепкого кофе и так же поспешно исчезали. Это зрелище — когда я его впервые увидел — немало меня удивило.

Любую тюрьму нельзя назвать привлекательной, но невысокое, светлое здание каторжной тюрьмы в Грудзиондзе отталкивающим не было. Летом, за окружавшей его стеной,

радовали глаз пестрые пятна цветников и зелень фруктового сада.

Я приходил туда с вокзала часам к девяти утра. Полученный в Варшаве пропуск проверяли дважды — во входных воротах и в самом здании — после чего меня вводили в кабинет начальника тюрьмы. Заранее предупрежденный, он ждал меня за письменным столом. По его вызову, в кабинет входил Коверда, в серой арестантской куртке. Разговор в этой обстановке не мог быть ни откровенным, ни долгим, но я надеялся, что молодому узнику, отрезанному на много лет от семьи, друзей и внешнего мира, приятен каждый знак внимания. Не помню, в какой именно мой приезд, он сказал, что о нем заботятся, снабжая продовольствием, жители города — Виталий Ильич и Ольга Яковлевна Бараден. Я получил их адрес и с ними познакомился.

X

В. И. Бараден был высоким, грузным человеком лет пятидесяти — врачем, окончившим в Петербурге военно-медицинскую академию. Он и его жена отнеслись ко мне гостеприимно.

Я не знал, когда и как они выбрались из России и почему поселились в небольшом польском городе, но помощь Коверде была порукой их русского патриотизма и антикоммунистической непримиримости.

Доктор любил пошутить, чаще всего — над самим собой и над своей неуклюжестью, не раз ставившей его в смешное положение. В его облике были восточные черты — мясистое лицо, крупный нос, темные глаза навыкат. Мне он показался армянином.

В 1937 году мы отпраздновали у него освобождение Коверды, после чего мне в Грудзиондзе бывать не пришлось, но знакомство с Бараденами не прервалось. Он посетил меня в Варшаве, а несколько позже я узнал, что медлительность, над которой он охотно смеялся, сыграла с ним злую шутку.

В польской провинции, в те годы, частные автомобили были редкостью, но доктор им обзавелся. Воспользовался

он им, однако, лишь однажды — во-время не затормозил и сбил с ног старушку, перебегавшую дорогу. Жертва несчастного случая отделалась легкими ушибами, но В. И. Барадену опротивели с этого дня и автомобиль, и город — свидетель тягостного происшествия. Расставшись с Грудзиондзом, он и его жена переселились в Гдыню.

x

Польский поэт Юлиан Тувим, в одном из своих стихотворений, назвал Гдынестроем этот приморский город, который воскресшая в 1918 году Польша основала на своем балтийском берегу, рядом с отторгнутым от Германии и превращенным в «вольный город» Данцигом.

Тувим прибавил, что в этой первой польской гавани все еще «бьют молоты» ее создателей. Они, действительно, продолжали бить до того сентябрьского дня 1939 года, когда нашествие Гитлера на несколько лет превратило польскую Гдыню в германский Готенхафен. Накануне войны город достроен не был. Когда В. И. Бараден купил там в начале 1938 года только что законченный дом, он стоял на незамощенной, пыльной улице.

Окруженный не садом, а забрызганными свежей краской досками неубранных лесов, небольшой особняк — когда я его впервые увидел — не показался мне привлекательным, но его владелец был так очевидно счастлив, что я воздержался от неуместных замечаний. Раскрывая двери еще ничем не обставленных комнат, он с трогательным увлечением описывал их будущий уют. Показал он мне и подвал, не предчувствуя, что именно там оборвется его жизнь.

x

Летом 1938 года моя семья и я прожили два месяца в Цоппоте — принадлежавшем «вольному городу» приморском курорте на границе Данцига и Польши. До Гдыни оттуда было рукой подать. Доктор Бараден был нашим частым гостем.

Над Европой сгущались темные тучи. Польше угрожала очевидная опасность с Запада, но я предвидел ее одновременное появление с Востока. Я опасался его настолько, что помышлял о переезде в Югославию, но осуществить этот замысел не удалось. С присущим моей жене и мне фатализмом, мы приняли приглашение друзей, живших в Цоппоте и уступивших нам на лето свою квартиру.

С давних пор этот немецкий курорт привлекал на свои песчаные пляжи польских евреев. Много было их там и в этом последнем мирном году, несмотря на то, что власть в Данциге уже была в руках национал-социалистов, призывавших к воссоединению «вольного города» с Германией. Иногда к большой кондитерской на улице, змеевидно поднимавшейся от прибрежного казино к вокзалу, подъезжали открытые грузовики, с которых данцигские штурмовики в коричневом обмундировании и красных нарукавных повязках с черной свастикой на белом поле предрекали гибель евреям, сидевшим за столиками на терасе. Дальше словесной угрозы они, однако, пока не шли.

По вечерам летние гости Цоппота — немцы, поляки и евреи — собирались на выходившем в море помосте деревянной пристани, над которой развевались украшенные белыми ганзейскими крестами красные данцигские флаги. С берега, из небольшого парка, доносились слегка заглушенные морским прибоем вальсы и марши в исполнении превосходного оркестра. Изредка вдали, не приближаясь к берегу, появлялись большие корабли, украшенные золотившейся иллюминацией. С них спускали шлюпки и на пристани, направляясь в казино, появлялись любители рулетки — рыжие англичане в смокингах и их дамы в вечерних платьях.

Хоть я и сознавал непрочность окружавшего нас мира, мне нравились эти беспечные, летние вечера. Не знаю, предвидел ли доктор Бараден надвигавшуюся катастрофу. Он казался спокойным и веселым. Особенно старался он угодить моим, тогда еще юным дочерям. Стоило им заикнуться, например, о мороженом, как он мгновенно исчезал и, чуть ли не бегом, возвращался с двумя порциями в протянутых ру-

ках. Я был этим тронут, но, простившись с ним накануне возвращения в Варшаву, не предвидел, что наша встреча никогда не повторится.

x

Осенью 1939 года мы не знали, что станем свидетелями истребления десятков миллионов человеческих жизней и крушения той Европы, с которой Россия — со дней Петра — была так тесно и разнообразно связана.

В сентябре варшавяне испытали германскую осаду города. Затем началась продлившаяся пять лет трагическая оккупация. Мы не сразу узнали, что творится на остальной, захваченной Гитлером польской территории, но когда в Варшаве появились изгнанные в созданное немцами краковское генерал-губернаторство жители Гдыни и других западных польских городов, В. И. Барадена и его жены среди них не оказалось. Значительно позже я узнал, что, убедившись в поражении Польши, он спустился в подвал своего дома и там повесился.

Он был евреем.

ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Скажи мне кто-нибудь в 1941 году, за две недели до германского вторжения в Россию, что в Варшаве, с моим участием, создается русское правительство, я назвал бы это глупой шуткой. Теперь я знаю, что обвинил меня в этом не кто-либо, а Альфред Розенберг, идеолог национал-социализма.

«Среди докладов Розенберга Гитлеру — сообщил семь лет спустя Б. И. Николаевский в «Новом Журнале» — имеется внеочередной доклад от 8-го июня 1941 года, написанный со следами нескрываемой тревоги. Дело состояло в следующем: в этот день канцелярия Розенберга получила информацию о том, что некто Войцеховский, видный русский эмигрант в Варшаве, ведет разговоры с рядом русских эмигрантов относительно формирования русского антибольшевистского правительства, подчеркивая, что это дело очень срочно ввиду близости войны и что переговоры эти он ведет по поручению человека, близкого к гитлеровскому наместнику в Варшаве — Франку.

Розенберга это дело взволновало не только потому, что оно свидетельствовало о широкой болтовне вокруг подготовки похода на Москву, которая считалась величайшей государственной тайной, но и потому, что оно свидетельствовало о существовании на самой верхушке нацистской партии сторонников совсем иной политики по вопросу о России, чем та, которую проводил он. Он настаивал на недопустимости каких бы то ни было отступлений от линии, которая была намечена им и утверждена Гитлером».

x

Не мне судить о том, из какого источника Розенберг почерпнул свои фантастические «сведения». Мне не удалось обнаружить упомянутую Николаевским копию доклада Розенберга в тех американских архивах, где она могла сохраниться. Рано или поздно, кто-либо ее найдет. О себе скажу только то, что разрыв Гитлера со Сталиным казался мне в 1941 году неизбежным.

Люди осведомленные предвидели его раньше. Бывший министр иностранных дел польского эмигрантского правительства в Лондоне, граф Эдуард Рачинский, опубликовал 8-го августа 1948 года в лондонском еженедельнике «Вядомосци» частичное содержание записи о состоявшейся 19-го июня 1940 года встрече Винстона Черчиля с польским премьер-министром, генералом Владиславом Сикорским.

«Черчиль — сказано в этом документе — надеялся на то, что, после успешной обороны Англии от вторжения, Гитлер будущей весной, хотя бы для того, чтобы чем-то занять свои значительные армии, которые он не захочет и не сможет распустить по домам, соблазнится, может быть, ударом по Москве».

X

С февраля 1941 года варшавяне не сомневались в предстоявшем германском походе на Восток. Бросалось в глаза накопление немецких войск в Польше. Когда из Брюсселя в Варшаву приехал на несколько дней В. В. Орехов, я показал ему, в центре города, Саксонскую площадь, запруженную военными обозами, и назвал войну неизбежной, вопреки мнению тех, кто утверждал, что эти дивизии «отведены с Запада на отдых», и верил в прочность клочка бумаги, подписанного в августе 1939 года в Москве фон Риббентроппом и Молотовым.

К вероятности гитлеровского вторжения в Россию В. В. Орехов не был равнодушен, но об эмигрантском правительстве речи между нами не было. Мы не предвидели самоубийственное безумие национал-социалистического отношения к

русскому народу, но полагали, что почин вызванных обстановкой русских начинаний должен исходить в Берлине от генерала В. В. Бискупского.

x

Упомянутый Николаевским документ доказывает недоброжелательное отношение Розенберга к Франку, которого Гитлер назначил генерал-губернатором небольшой части оккупированной немцами Польши. Избравший своей резиденцией не пострадавшую от войны Варшаву, а избежавший этой участи Краков, наместник фюрера был — не менее Розенберга — орудием его «восточной политики». Приписать ему иные мнения мог только такой его противник, каким был Розенберг.

Я видел Франка только раз — проносившимся по улицам Кракова в бронированном автомобиле, под охраной пулеметчиков и мотоциклистов. Его подчиненные, ведавшие тем, что немцы называют Bevoelkerungswesen считали русских эмигрантов величиной, не заслуживающей внимания, и занимались, преимущественно, поощрением польско-украинской розни. В книге "Das Generalgouvernement, seine Verwaltung und Wirtschaft", изданной в Кракове, в 1943 году, одним из ближайших сотрудников Франка — Иосифом Бюлером — украинцам посвящены девять страниц. На трех рассмотрены племенные особенности закопанских горцев, а русскому населению генерал-губернаторства отведены пятнадцать строк:

«Русские — великороссы — не могут быть названы коренной этнической группой, так как они, главным образом, оставшиеся в 1915 году (в Польше) царские чиновники и землевладельцы или политические эмигранты. Поэтому центры русской жизни существуют только в городах прежней «конгрессовой» Польши, прежде всего — в Варшаве, как бывшем административном центре, а затем в Петрокове, Ченстохове, Кракове и некоторых городах Варшавского и Люблинского дистрикта. Все это — небольшие колонии с не превышающим ста человек составом и с незначительным числом детей. Уровень их культурной и экономической жизни, в не-

которых случаях, очень высок. Несмотря на исконную вражду русских и поляков, они поддерживают доброжелательные отношения с представителями бывшей польской правительственной власти. Их отношение к Германии лояльно».

Русские колонии в генерал-губернаторстве были действительно невелики, но в Варшаве на учете Русского Комитета состояло свыше 8-ми тысяч человек.

x

Автором книги, изданной Бюлером, был его молодой сослуживец и член национал-социалистической партии, д-р Вальтер Фель. Книга поступила в продажу после сокрушительного поражения германских армий на Волге, когда некоторые немцы начали постепенно сознавать совершенные Гитлером в России преступные ошибки, но в 1941 году Франк и его подчиненные были упоены победами над Польшей, Францией и Югославией. Страх перед сговором Франка с русскими эмигрантами мог возникнуть только в больном воображении Розенберга.

Мало кому известный адвокат, защищавший Гитлера в судах Веймарской республики и, в награду, вознесенный его бывшим подзащитным на полу-престол Краковского кремля — Вавельского замка — Франк вел сохранившийся дневник, обнажающий его поведение. Истребление польского народа, или, в лучшем случае, его изгнание на Восток и замена поляков немецкими переселенцами осуществились бы в случае победы Германии, но она, с каждым днем, становилась все менее вероятной. Поэтому, отношение Франка к полякам испытало неоднократные, но не существенные колебания. Прямолинейным — с первого дня до последнего — оно было лишь по отношению к евреям. Задача, которую Франк и его сотрудники пытались разрешить, когда имели дело с остальным, не польским населением, сводилась к желанию отгородить национальные меньшинства от поляков и, если удастся, использовать их в борьбе с ними.

x

Правление Российского Общественного Комитета предвидело это с весны 1938 года. Столкновение Германии с Польшей казалось ему неизбежным. Гитлеровский антикоммунизм не вызывал преувеличенных надежд. Когда события все это подтвердили, русское население генерал-губернаторства примирилось с установленным новой властью разграничением поляков и меньшинств, но вовлечь его в борьбу с поляками немцам не удалось.

Лежачего не бьют... Свидетели катастрофы, постигшей Польшу — русские эмигранты, прожившие там два десятилетия — не забыли это правило. Некоторые поляки ждали от них более враждебного отношения к оккупантам, вплоть до содействия польским подпольным организациям, но эта надежда отклика в русской среде не вызвала. Слишком была памятна недавняя «работа» Союза Православных Поляков, пытавшегося, при поддержке правительства, вытравить «московский дух» из церковной жизни и даже способствовавшего разрушению нескольких православных храмов. Известно было и другое — в сентябре 1939 года не все польские учреждения, застигнутые врасплох молниеносным германским вторжением, успели уничтожить свои архивы. В бумагах Келецкого воеводы Дзядоша был найден подписанный председателем совета министров, генералом Славой-Складковским, тайный циркуляр, предписывавший полное искоренение всех проявлений русской жизни в Польше.

В обстановке немецких расправ с поляками и польского контр-террора смешно и глупо было бы мечтать в Варшаве о создании там русского зарубежного правительства.

X

Отношение русских эмигрантов в Польше и в других европейских странах к войне Гитлера со Сталиным не было единодушным. Немногие отрицали начисто любой сговор с немцами и предпочитали им большевиков.

Некоторые — немногочисленные — видели в национал-социализме непререкаемую истину и ждали от германского канцлера чуда — превращения его учения в основу «интер-

национала» равноправных народов, в том числе и русского.

Третьи пошли на связь с «восточным» министерством Розенберга, но, на этом скользком поприще, мечтали о «борьбе на два фронта». Они исходили из наивной веры в неизбежность превращения войны, после поражения Германии, в столкновение ее западных противников с советскими коммунистами.

Остальные, рано убедившись в невозможности сговора с Гитлером, надеялись на его замену во главе Германии человеком, понимающим, что без русского участия в борьбе большевики побеждены не будут. Одним из них был генерал В. В. Бискупский.

x

Номинально, он был начальником созданного после прихода Гитлера к власти Управления делами русской эмиграции в Берлине. Оно оказывало бесподданным эмигрантам правовую помощь, но ею занимался С. В. Таборицкий, ставший германским гражданином и членом правящей партии и, к тому же, не очень с Бискупским ладивший.

Генерал открыто называл себя монархистом и при жизни великого князя Кирилла Владимировича признавал его главой Дома Романовых, но это мнение никому не навязывал. В прошлом он был, вероятно, сибаритом, но в Берлине — даже до войны — жил, по сравнению с русскими варшавянами, скудно и считал каждый пфенниг.

Розенберг его ненавидел. Выходившая в Берлине под редакцией В. М. Деспотули газета «Новое Слово» это отношение послушно отражала. Генерал А. А. Власов видел в нем ретрограда дворянского толка, а сам Бискупский понимал, что, доколе Розенберг и ему подобные будут влиять на политику Германии, ни о какой русской освободительной борьбе с немецкой помощью речи быть не может.

x

Существует документ, указывающий на его попытку предупредить немецких противников Гитлера о роковых послед-

ствиях ненависти фюрера к России и к русскому народу. Этот документ — запись в дневнике германского дипломата Ульриха фон Хасселя. Ее автор — бывший посол при Квиринале, отозванный из Рима по требованию Риббентроппа — числился на службе, но жил в Берлине не у дел.

«Ко мне — написал он 13-го июля 1941 года — пришел берлинский представитель организации белых русских, в полном отчаянии именно потому, что он и его друзья поставили на немецкую карту. Он все более убеждается в том, что война ведется не против большевизма, а против русских. Лучшее доказательство состоит в том, что смертельный враг русских, Розенберг, поставлен во главе политического руководства. Он сказал и я полностью с ним согласился, что, если Гитлер будет так продолжать и определится его цель, во-первых, подчинить Россию национал-социалистическим гаулейтерам и, во-вторых, ее расчленить, Сталину удастся создать возглавленный им русский фронт против германского врага».

В военные годы фон Хассель был с Карлом-Фридрихом Герделером и с генералом Людвигом Беком одним из главных участников заговора, который привел 20-го июля 1944 года к покушению на Гитлера в его ставке и к неудачной попытке военного переворота в Берлине. Расследование установило причастность бывшего посла к этим событиям. Он был арестован и казнен 8-го сентября. Попади его дневник в руки следствия, Бискупский не избежал бы участи заговорщиков. К счастью, вдова фон Хасселя спасла тетради, которым ее муж неосторожно доверял свои впечатления и разговоры. В 1946 году его дневник был издан в Швейцарии.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

В 1951 году в Германии была издана книга Эдвина-Эриха Двингера об А. А. Власове. Эпиграфом к ней были слова казненного большевиками генерала:

— Победить Россию могут только русские.

Год спустя, другой немецкий писатель — Юрген Торвальд — напомнил, что случается с теми, кого боги лишают разума. Рассказав трагедию Власова и его соратников, он обвинил Гитлера в непонимании значения русского участия в войне со Сталиным.

В отличие от Двингера, который знал Власова, мог вспомнить встречи с ним, но прибавил собственный домысел, Торвальд собрал документы и показания свидетелей — написал не роман, а достоверный исторический труд. Я знаю его только, как автора этой книги и потрясающего описания советского вторжения в Германию, но с Двингером связано воспоминание об его не только литературном, но и личном отношении к России.

x

Война Германии с большевиками вызвала в оккупированной немцами Варшаве временное и непрочное затишье. После кровавых столкновений с польскими подпольными организациями, после облав и стрельбы на улицах города, немцы и поляки были потрясены походом Гитлера на Восток. Их надежда была противоположна, но впечатления одинаковы. Молниеносное наступление германских дивизий, сказочное число взятых в плен красноармейцев вскружили немцам головы, отразились на поляках смущением и унынием. Только

немногие понимали, что Смоленск и Киев — не вся Россия. Поражение Сталина казалось окончательным. Упоенные успехом немцы ослабили в Варшаве репрессии. Поляки готовились к саботажу в германском тылу, но еще не приспособились к новому положению.

В ноябре 1941 года неудача немцев под Москвой показала, что об их скорой победе речи быть не может. Робко и неуверенно поползли слухи о страшном русском морозе, о недостаточном снабжении германских войск зимним обмундированием, о неизбежности долгой борьбы с неизвестным исходом. Заговорили варшавяне и о том, что отношение немцев к населению захваченной ими русской территории не отличается от их поведения в Польше и, пожалуй, хуже. Точных сведений не было. Правда была скрыта расстоянием и скудостью достоверной информации.

х

В один из этих дней временного успокоения в Варшаве и тревожных известий с Востока начальник отдела народонаселения и общественного призрения в немецком губернском управлении Хайнц Ауэрсвальд спросил по телефону, может ли он побывать у меня с писателем, направляющимся в Минск. Я ответил приглашением на тот же вечер.

Поколение, к которому Ауэрсвальд принадлежал, испытало в детстве позор Версальского мира и выросло в Веймарской республике. Оно презирало власть, навязанную Германии военным поражением. Свастика стала для него символом национального возрождения. Как многие молодые немцы, он поверил фюреру. В национал-социалистическую партию привлекла его не нужда, а патриотизм. Он вырос в бюргерской, зажиточной семье, избежавшей последствий разорительной инфляции, и был до войны адвокатом в Берлине. Случайно я узнал, что к этой профессии он вернулся после поражения Германии и скончался в Дюссельдорфе в 1970 году.

х

Крушение Польши было для русских варшавян катастрофой. Оно нарушило налаженную жизнь, многих лишило за-

работка, а некоторых и крова. Тревожнее житейских затруднений стала близость демаркационной линии, за которой — над Бугом — стояли советские войска.

В 1939 году русское население Речипосполитой состояло из польских граждан и бесподданных эмигрантов. Граждане были — на словах — равноправны с поляками. Их представителем в Сейме был единственный русский депутат, виленский старообрядец Б. А. Пименов. Эмигранты были обладателями нансеновских паспортов, нуждавшихся в частом продлении. Приобрести в Польше недвижимость они не могли. Передвижение по стране было ограничено чертой оседлости. Въезд в восточные воеводства был запрещен и допускался только с особого разрешения. Несмотря на это, жилось в Варшаве русским — даже эмигрантам — беззаботно. Страна дышала изобилием. Не трудно было найти занятие, соответствующее знанию и образованию. Немало было старожилов, связанных с Польшей давними узами. Война ударила по ним так же, как и по полякам.

x

Разрушительная осада, стремительный распад польского государства и сокрушительная победа Германии вызвали в русской среде понятную растерянность. Из всех существовавших до войны организаций устояла лишь одна — Российский Общественный Комитет. Как только прекратилась воздушная бомбардировка и умолкли обстреливавшие город орудия, этот Комитет распахнул двери перед каждым, нуждавшимся в помощи. Он сразу стал центром, к которому потянулись не только эмигранты, но и польские граждане, называвшие себя до войны русским национальным меньшинством. Из него, как из малого зерна, вырос в 1940 году избравший меня председателем Русский Комитет — признанное оккупационной властью представительство русской части населения краковского генерал-губернаторства.

Немцы — надо сказать — не сразу обратили внимание на существование в Польше национальных меньшинств. Они не стали преследовать тех русских эмигрантов, которые, в

первые дни войны, призвали к сопротивлению Германии. Так, например, не пострадали редакторы варшавского журнала «Меч» — В. В. Бранд и Г. Г. Соколов.

То же можно сказать и об украинцах. Племянник Петлюры, депутат Скрыпник, произнес в день вторжения германских войск в Польшу речь, в которой обещал полякам верность и помощь украинцев. Это не помешало ему стать позже на Волыни, в годы ее временной оккупации Германией, епископом украинской православной Церкви, отнюдь не полонофильской. Ныне, как митрополит Мстислав, он возглавляет эту Церковь в Соединенных Штатах и в западной Европе.

Немцы вначале ограничились тем, что предложили благотворительным и просветительным организациям в генерал-губернаторстве прекратить свое существование и создать взамен лишенные политических функций национальные самоуправления. Первым был основан польский Главный Попечительный Совет, возглавленный графом Адамом Роникером. Несколько позже возникли Комитеты — русский, кавказский и украинский — а затем белорусский и татарский.

Положение польской организации стало очень трудным, когда немцы перешли от первоначального притеснения поляков к гонению — к истреблению интеллигенции и молодежи. Национальные комитеты — за исключением украинского — благоразумно воздержались от всего, что могло навлечь на них ненависть поляков, но председатель украинцев, полковник Поготовко, был уличен в доносах на поляков и расстрелян ими в своем кабинете.

X

Надзор отдела народонаселения и общественного призрения над деятельностью комитетов был поверхностной формальностью. Затруднения возникали только тогда, когда нужно было хлопотать об освобождении арестованных. Гестапо, от которого их судьба зависела, подчинялось непосредственно Берлину, а Краков оберегал свое местное значение и запретил любое обращение комитетов к немецким полицейским учреждениям. Поэтому благожелательность Ауэрсвальда име-

ла немалое значение. Возглавлявший кавказских эмигрантов д-р Г. К. Алшибая, умный и тонкий дипломат, не поладил с второстепенным чиновником и вынужден был уступить свое место более покладистому князю Накашидзе.

Секретаршей Ауэрсвальда была, в первые месяцы оккупации, эффектная, голубоглазая уроженка Риги. Она превосходно говорила по-русски и по-польски и, поэтому, помогла своему начальнику разобраться в запутанном наследии польской политики — отношении к национальным меньшинствам и к эмигрантам. Она сразу стала его незаменимой сотрудницей, а вскоре и женой. Победы Гитлера во Франции, Норвегии и на Балканах поразили ее воображение, воспламенили немецкий энтузиазм. Впрочем, и тогда она осталась человеком сострадательным и добрым. Я сохранил о ней признательную память.

x

Из нескольких тесных комнат, в которых война застала Российский Общественный Комитет, он переехал, весной 1940 года, в прелестный особняк графа Стефана Тышкевича на Аллее Роз. Под квартиру председателя и мою канцелярию был снят один из этажей барского дома на Вейской улице.

Я знал эту часть Варшавы с детства. С балкона, наискосок, я мог увидеть дом, в котором несколько десятилетий прожил В. К. Гловацкий, друг и однополчанин моего отца. За углом были ворота, из которых нянька вывозила меня в младенчестве на прогулку в Уяздовские аллеи. Дальше, за великолепным парком королевских Лазенок, стояли бывшие казармы Лейб-Гвардии Уланского Его Величества полка, в который мой отец вышел корнетом из кавалерийского училища. Все вокруг напоминало мне не только детство, но и невозвратную связь Варшавы с Россией, да и сама моя квартира была русским островком в польском море.

Днем, когда в приемной толпились посетители, в канцелярии стучали пишущие машинки, а в мой служебный кабинет проникали отголоски тревожной и опасной жизни варшавян, русский облик моего жилища временно затемнялся.

Вечером наступала тишина. Служащие расходились. Только у входных дверей оставалась вооруженная охрана. Во многих комнатах гасился свет. Шумное учреждение становилось на ночь частным обиталищем.

В каждой комнате — как полагается — висели образа, перед которыми до меня молились предки. Сидя в кабинете за письменным столом, я видел на стене большой, во весь рост, портрет императора Николая Павловича в резной, позолоченной раме. Он был изображен на поле битвы, в лосинах и ботфортах, с голубой андреевской лентой через плечо и треуголкой в левой руке. В столовой, портрет его несчастного правнука в красном доломане и белом ментике гвардейских гусар отражался в большом зеркале, висевшем над буфетом.

Справа от царского портрета, в столовой, на полках застекленной горки лежали русские ордена и медали. Над ними, сказочные павлины распускали белые хвосты на фарфоровой вазе, изготовленной по датскому образцу в России императорским заводом в честь скандинавской принцессы, ставшей русской императрицей. Слева, на акварели знаменитого художника, добрый молодец в парчевом кафтане и соболиной шапке, подняв к губам цветущую розу, улыбался красной девице в ярком сарафане.

В этой русской обстановке Ауэрсвальд познакомил меня с Двингером.

X

Гости приехали поздно. Как он это делал часто, Ауэрсвальд привез не только писателя, но и свою жену. На нем был темный костюм. Только незаметный, круглый значек в петлице пиджака выдавал его принадлежность к партийной элите. Двингер — невысокий, коренастый, с первым признаком проседи в темных волосах над живым, выразительным лицом — появился в непонятном мундире, не военном и не партийном, с заменяющим погоны серебряным жгутом на плечах.

Ауэрсвальд назвал его своим другом и вскользь упомянул его звание прусского академика, прибавив, что некто в Берлине, сохраняющий инкогнито, встревожен положением в России. Москва не взята; сопротивление советской армии ожесточилось; население, встречавшее немцев с хлебом и солью, помогает красным партизанам. Некто хочет знать, почему это случилось. Двингер должен побывать на занятой германскими войсками советской территории и, вернувшись в Берлин, сообщить свои впечатления. В то время, когда малейшее сомнение в победе Гитлера называлось преступлением, это начало разговора было доказательством безграничного доверия. Я спросил Двингера, знает ли он русский язык, и услышал, что в первую войну он побывал в нашем плену.

X

В доме было тихо и также тихо было на улице. Домоправительница, пожилая женщина, знавшая пять поколений моей семьи — от прабабушки до моей внучки — уже спала. Моя жена поставила на стол то душистое, крепкое кофе, которое способствует беседе. Мы одинаково понимали, что настали роковые дни. Мы одинаково были встревожены, хотя повод к тревоге был, конечно, разным. Мои собеседники были немцами. Их волновала судьба Германии. Мне Россия была дороже, но мы одинаково знали, что победа Сталина, если она суждена, пронесется, как смерч, не только над Германией, но и над русским народом и русскими эмигрантами. Никогда — ни до, ни после войны — я не разделял иллюзии тех, кто верил в перерождение коммунизма. В зловещей тишине варшавской зимней ночи мы разно относились к национал-социалистической Германии, но одинаково предвидели, что нам сулит ее поражение.

Я рассказал недавнюю поездку в Берлин и безуспешную попытку найти там людей, понимающих, что поведение немцев в России сулит им гибель. Я сказал то, что позже повторил генерал Власов — покорить Россию невозможно, победить коммунизм может только русский народ. Мне не при-

шлось тратить время на доводы. Двингер схватывал слова на лету, поддерживая меня всякий раз, когда Ауэрсвальд возражал только для того, чтобы не видеть пропасть, которую мы ему показали. Его жена, долго слушавшая нас внимательно и молча, неожиданно вмешалась в разговор. Она, очевидно, не могла примириться с крушением мечты. Ей трудно было признать, что Германия зашла в тупик.

— Русский народ — сказала она — истощен коммунистическим террором. Его правящий слой истреблен. Без немецкой помощи Россия никогда не наладит новой жизни.

Она в это, видимо, верила. Русские эмигранты не были в ее представлении врагами. Со мной она захотела быть откровенной до конца.

— Подумайте, как это было бы прекрасно — воскликнула она — мой муж мог бы стать, например, сибирским генерал-губернатором, а вы, господин Войцеховский, его помощником...

Предвкушение этого счастья вспыхнуло в ее глазах. Они потухли под укоризненным взглядом Ауэрсвальда. Может быть, она невольно выдала то, о чем и он мечтал, когда немецкие танки неудержимо катились на восток, но в эту ночь он понял, что предлагать мне, в моем доме, перед портретом русского монарха, положение германского чиновника в недостижимой Сибири смешно и неприлично. Бестактность жены его расстроила. Он попробовал это загладить, обратившись к Двингеру:

— Вот, кстати, о Сибири... Вы там побывали... Скажите, вам там было очень тяжело?

Немецкий писатель, которому когда-то далекая Сибирь казалась, может быть, страной кнута и каторги, отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи.

— Ах, бросьте — ответил он раздраженно и на мгновение замолчал. Потом, другим голосом, прибавил восторженно и убежденно:

— Поверьте мне, господа... Кто не знал прежней России, тот не знал счастья...

БРАТЬЯ КОТЛЯРЕВСКИЕ

А. П. Вельмин был до осени 1939 года варшавским корреспондентом парижских «Последних Новостей». Бывший киевлянин, член «кадетской» партии, он и в эмиграции остался единомышленником П. Н. Милюкова. В 1936 году он был избран председателем Русского Попечительного Комитета в Польше, основанного Б. В. Савинковым после прекращения польско-советской войны, но ставшего позже прибежищем варшавской Русской Демократической Группы.

В сложной обстановке германской оккупации, он от участия в русской общественной жизни уклонился. По его собственным словам, возглавленный им Комитет «с приходом немцев предпочел совсем прекратить свою деятельность».

К созданному остальными русскими организациями, под моим председательством, Русскому Комитету он отнесся отрицательно и понял пользу, приносимую им русской части населения лишь тогда, когда захотел навестить в Саксонии своего друга, бывшего члена Государственной Думы, барона Ф. Р. фон Штейнгеля. Поездка была невозможной без удостоверения о русской национальности, которое он, конечно, за моей подписью получил. Это рассказано им в статье «Русское население в Польше во время немецкой оккупации» («Новый Журнал», XIV, 1946 г.). В той же статье он упомянул трагическую судьбу братьев Котляревских.

«Когда — написал он — в 1943 году усилились убийства немцев в Варшаве польскими тайными организациями, немцы ответили на это расстрелами заложников. Не проходило недели, чтобы не было расстреляно 100-200 человек. Расстрелы эти производились публично на улицах и площадях го-

рода. Обыкновенно вывешивались большие списки заложников, причем указывалось, что все это «агенты англо-американской плутократии и коммунистического большевизма», которые приговорены к расстрелу, но будут помилованы, если в течение трех месяцев не будет ни одного покушения на немца. Так как покушения не прекращались, то через несколько дней публиковался этот же список, но с указанием, что все эти лица публично расстреляны. Затем публиковался новый список заложников. Разумеется, все заявления, что эти лица были какими-то «агентами» и были за это судимы, являлись сплошной ложью. Немцы просто помещали в списки лиц, находившихся в данный момент в тюрьме, а иногда и лиц, только что захваченных при очередной облаве на улицах города. В эти же облавы попадали совершенно мирные, случайные прохожие. Производились эти облавы с целью набрать людей на работы в Германии.

В число таких «агентов» попали и некоторые русские, в том числе бывший редактор газет «Наше Время» и «Русское Слово» Ф. А. Котляревский и его брат. На квартире Ф. А. Котляревского был арестован его родственник, поляк, у которого были найдены нелегальные польские издания. Это было достаточно, чтобы все, жившие в этой квартире лица были арестованы, а на другой день Ф. А. Котляревский и его родственник попали в число «агентов», подлежащих расстрелу. Все усилия председателя Русского Комитета С. Л. Войцеховского спасти Ф. А. Котляревского не имели успеха и через несколько дней мы прочли его фамилию еще раз — в списке расстрелянных. Брат же его погиб по собственной неосторожности — в момент ареста всех, живших в квартире, он не был дома. Чины Гестапо заперли пустую квартиру и взяли с собой ключи. На другой день, узнав об этих арестах, Е. А. Котляревский, несмотря на предостережение друзей, имел неосторожность отправиться в Гестапо за ключами от квартиры. Оттуда он не вернулся, а через несколько дней и он фигурировал в списке расстрелянных «агентов». Оба брата Котляревские были хорошо известны в нашей варшавской русской колонии и, конечно, не были никакими «агентами»

и не принимали никакого участия в деятельности польских антинемецких организиций».

x

Так — в 1943 году — думал и я, но теперь знаю, что попытка спасти Ф. А. Котляревского от расстрела была не только безуспешной, но и безнадежной. А. П. Вельмин ошибся, предполагая, что Ф. А. Котляревский не был причастен к борьбе польских тайных организаций с германской оккупацией. Правду я узнал в 1954 году из воспоминаний бывшего возглавителя польского вооруженного сопротивления, адвоката Стефана Корбонского (Stefan Korbonski, "W imieniu Rzeczypospolitej", Paryž, 1954).

«Был у нас в центре — рассказал он — молодой человек из Познани, среднего роста, рыжеволосый, молчаливый и старательный, всегда очень хорошо одетый. По профессии он, кажется, был юристом — студентом или кандидатом на судебную должность. Не было случая, чтобы я, в том или ином нашем помещении, не застал его, всегда на месте, внимательным и готовым к услугам. Он был чем-то вроде секретаря Возглавления Гражданского Сопротивления. В разговорах я его называл Рыжим. Псевдонима и фамилии не помню.

В начале 1943 года наш центр помещался на улице Згода, вблизи Хмельной, в квартире доцента, ботаника Вишневского, или, точнее, его тестя, белого русского, бывшего до войны редактором русской эмигрантской газеты... Он не раз открывал мне двери, но за все время мы не обменялись ни одной фразой. Позже Вишневский начал работать для нас, в частности прятал наши бумаги в своих гербариях. Несколько тысяч папок, содержавших засушенные растения, лежали на деревянных полках в его комнате и мы временно пользовались ими для нашего архива. Вишневский рассказал мне, что его тесть не только сторонится тех белых русских и их организации в Польше, которые пошли на сотрудничество с немцами, часто только ради лучших продовольственных карточек, но даже считает, что пользовавшиеся в течение стольких лет польским гостеприимством русские не должны вести

на польской территории политики, расходящейся с интересами хозяев. Может быть, тут имели значение и другие побуждения, как, например, нежелание идти с Германией против России, даже советской, но — так или иначе — в нашем распоряжении была квартира, принадлежавшая русскому.

Однажды Рыжий, с глаза на глаз, сказал мне, что неожиданно встретил на улице старого знакомого, поляка Л., ныне несомненного агента Гестапо, который немедленно привязался к нему, расспрашивая, чем он занимается в Варшаве и как устроился. Рыжий с трудом от него отделался, но, после этой встречи, чувствует себя в опасности тем более, что живет по «левым» бумагам, так как Гестапо — вот уже два года — разыскивает его, как участника подпольной организации, провалившейся в самом начале своего существования. Он не сомневался в том, что Л. сделает все возможное, чтобы его проследить и выдать.

Мы все, без исключения, разыскивались Гестапо, но все же нехорошо, что его агент напал на прямой след сотрудника центра. Так как роль Л., как агента Гестапо, была установлена, раздумье было кратким, а решение — немедленным и, я сказал бы, по тому времени шаблонным: «Нужно дать знать, кому следует, и убрать Л. возможно скорее. Приготовьте соответствующее распоряжение на подпись и, лучше всего, сами его отвезите. Завтра не появляйтесь здесь и, если возможно, не оставайтесь в Варшаве и, во всяком случае, перемените конспиративную квартиру. Контакт с нами сохраните только через связную»... Рыжий исчез и только раз в несколько дней связная Дуся сообщала, что он жив и здоров. Настал день, когда связь оборвалась и Рыжий пропал бесследно. Мы немедленно очистили и усыпили все, известные ему помещения... Я поговорил с Вишневским и потребовал, чтобы все покинули квартиру, по крайней мере на короткое время, и скрылись. Я предложил денежную помощь, поддельные документы. Вишневский, однако, отказался, утверждая, что, во-первых, если Рыжий и арестован, то никого не выдаст потому, что он — человек стойкий, а, во-вторых, квартира очищена до последней нитки и Гестапо в ней ничего не найдет.

Слушая его, я с сомнением качал головой. Я бы не поручился за кого-либо, не исключая меня самого, если бы дело дошло до пыток. Как можно сказать? Но, ничего не поделаешь! Не хотят — пусть не хотят. Может быть, Рыжий не арестован, а только скрылся в провинцию? Голова была забита множеством других вопросов, связанных с его исчезновением, так что о квартире на улице Згода я думать перестал.

Несколько дней спустя была получена плохая весть. Гестапо ночью ворвалось в квартиру и захватило там всех... На четвертом году войны сознание притупилось и никто так живо, как в начале оккупации, на подобные случаи не отзывался... Однако, я едва устоял на ногах, пробегая как-то утром взглядом красную афишу с фамилиями лиц, расстрелянных во время публичной казни, наткнулся на имена Вишневского и его тестя. Не поверив глазам, я прочитал их вторично. Несмотря ни на что, я не был подготовлен к такому скорому концу. Сомневаться, однако, я не мог... Так погиб молодой, многообещающий ученый и, вместе с ним, как косвенный участник нашей борьбы с Германией, благородный русский человек».

X

До войны Ф. А. Котляревский жил в Варшаве, но принадлежавшая ему газета «Русское Слово» выходила в Вильне, где типографией ведал его брат. Оба были людьми купеческой складки и дела их шли недурно. Газета не была эмигрантской и только с оговоркой могла быть названа антисоветской. Эмигранты довольствовались существовавшими — в разное время — в Варшаве газетами «За Свободу» и «Молва» или выписывали из Берлина, Парижа и Риги другие русские издания. Котляревские обращались не к ним, а к многочисленному коренному населению восточных окраин Польши, часто называвшему себя украинцами или белоруссами, но тяготевшему к русскому печатному слову. Угождая читателям, они уделяли в своей газете больше внимания местной жизни, чем русским темам.

Советофильским «Русское Слово» не было, но часть его сотрудников считала, что «Россия в любом кафтане — белом или красном — остается Россией». Эта фраза была однажды сказана бывшим депутатом польского Сейма Н. С. Серебренниковым, побывавшим до войны в Москве и заручившимся там представительством советских изданий на Польшу. В 1940 году тем, кто ему поверил, пришлось убедиться в своей трагической ошибке — нагрянувшие в занятую советскими войсками Вильну московские чекисты арестовали этих «патриотов», пропавших затем без вести в далеких лагерях и тюрьмах.

x

Известие об аресте Ф. А. Котляревского мгновенно облетело Варшаву. Кто-то высказал предположение, что он обвинен в продаже газетной бумаги одной из многочисленных тайных польских типографий.

Это одно — если бы оказалось правдой — должно было затруднить хлопоты об его освобождении тем более, что в Комитете он зарегистрирован не был и, следовательно, был в немецких глазах не русским, а поляком. Все же, попытка показалась мне необходимой. Съездив в Брюловский дворец — управление германского губернатора Варшавы — я ее сделал.

Меня выслушали вежливо и даже согласились навести по телефону справку в Гестапо, но, по тому, как нахмурился услышавший ответ чиновник, я понял, что надеяться на благой исход нельзя.

— Советую вам — сказал он — забыть это дело... Человек, которому вы хотите помочь, тяжко провинился... К тому же, он не подлежит вашей опеке... Вы только повредите себе и Комитету...

x

На Вейской, в моей канцелярии, секретарь доложил, что свидания со мной просит брат арестованного. Я принял его

немедленно, хоть раньше не встречал и увидел в это утро впервые.

Внешне, он был сдержан и спокоен. Сказал, что избежал ареста, так как, случайно, ночевал не дома, а затем обратился ко мне с невыполнимой просьбой — побывать в Гестапо и убедить его вернуть ключи от опечатанной ночью квартиры. Он прибавил, что ему совершенно необходимо туда проникнуть.

Я посоветовал забыть это и немедленно уехать в Вильну, где остались его жена и дочь. Когда он заикнулся, не сходить ли ему за ключами в Гестапо самому, я назвал это безумием.

На третий день он пришел на Вейскую вторично, но был неузнаваем — мутный взгляд, опухшее лицо, растрепанные волосы, смятая одежда. Войдя в мой кабинет, он не сел, а, как мешок, свалился на ближайший стул. Прерывающимся голосом, он еще раз попросил меня раздобыть ключи от роковой квартиры.

Я был потрясен непониманием угрожавшей ему опасности, но от обращения к Гестапо категорически отказался... Пошатываясь, он вышел из комнаты... Дня через два появилось сообщение об его расстреле.

ВАРШАВА

Июль 1944 года

Летний день казался мирным и спокойным. После нескольких лет жестокого немецкого террора и польского кровавого возмездия, Варшава притаилась. Стрельба на улицах затихла, прекратились облавы и бессудные расстрелы. Обе стороны знали, что им предстоят грозные события.

Еврейское гетто было уничтожено весной 1943 года, после упорного сопротивления его последних обитателей. Уцелевшие развалины были сравнены с землей, но вокруг их каменного кладбища жизнь бурлила по-прежнему.

Рынки были завалены снедью, доставленной мешечниками и крестьянами. Небольшие, уютные рестораны соблазняли обильным перечнем вкусных блюд. Баснословные цены росли под дождем бумажных ассигнаций. Мрачные личности, оглядываясь исподлобья, торговали на толкучках золотом и французским коньяком. Из-под полы они предлагали и оружие — бельгийские браунинги и советские автоматы.

По ночам случались грабежи. Город был наводнен ночными пропусками — настоящими и поддельными. Патрули боялись прохожих больше, чем они — немецких жандармов. Никто не знал, кто был ночью хозяином Варшавы — немцы ли, тайные ли польские организации или осмелевшие преступные шайки. Днем устанавливалась обманчивая тишина — предвестница бури.

На Вейской улице, в нарядном доме, один этаж которого был занят канцелярией и квартирой председателя Русского

Комитета, затишье сказалось сокращением потока посетителей. В приемной не толпились те, кто недавно прибегал к моей помощи каждый раз, когда с русскими варшавянином случалась беда.

Удивителен человек... Как легко он верит шаткому благополучию... Как скоро забывает обвалы, от которых бежал накануне... Как жадно цепляется за самую зыбкую почву...

Не раз в то лето, приближавшее войну к развязке, я безуспешно пытался вразумить просителей, добивавшихся содействия в таких делах, как покупка дома или дачи, связанная с необходимостью удостоверить национальность покупателя. Призрак легкого обогащения скрывал от них пропасть, разверзавшуюся под ногами.

Разговоры с беженцами из Ростова, Харькова или Киева, успевшими выбраться оттуда при отступлении немцев, сложными не были. Одни стремились дальше, на Запад. Другие боялись Германии. Завороженные, после голодающей России, изобилием польских рынков, они хотели задержаться подольше в Кракове или Варшаве и были недовольны тем, что я настаиваю на их немедленном отъезде.

Советское наступление приближалось к Бугу. Оно было достаточно красноречивым, но сослаться на него я не мог. Немцы считали сомнение в их победе преступлением, а горький опыт жалоб и доносов научил меня осторожности.

Приближение фронта беспокоило многих, но не всех русских варшавян. Одни не верили, даже тогда, в обреченность Германии. Другие, вместе с поляками, надеялись на чудо — появление английских парашютистов над Варшавой. Третьи утешали себя тем, что «коммунисты изменились к лучшему». Большинство сознавало опасность, но не знало, что предпринять.

Только новые беженцы могли беспрепятственно двинуться на Запад. Остальное население было приковано к городу сложной цепью трудовых и паспортных правил. Немногие русские дельцы, разбогатевшие на войне, добывали пропуска и переселялись в Чехию. Она почему-то казалась им верным убежищем, но стала западней. Двое или трое сразу сделались

в Праге жертвой шантажистов, связанных с немецкой полицией. Остальные попали позже в советские сети.

Внешне, в это последнее лето германской оккупации, в варшавском Русском Комитете ничто не изменилось. В Михалине, на восточном берегу Вислы, как в прошлые годы был открыт детский летний лагерь. По-близости, в Свидере, разместился эвакуированный из Брест-Литовска русский приют. В самой Варшаве, в особняке графа Тышкевича, зятя покойной великой княгини Анастасии Николаевны, членам Комитета раздавались мука и сахар. Служащие, радуясь перерыву в долгом напряжении, приводили в порядок архив.

X

До войны я был управляющим делами Российского Общественного Комитета — эмигрантской организации, к которой польские граждане не принадлежали. Судьба всех русских варшавян стала моей заботой в тот сентябрьский день 1939 года, когда я услышал по радио распоряжение польской военной власти об оставлении столицы всеми, способными носить оружие мужчинами. Исполнение этого приказа означало бы уход в единственном направлении, еще не отрезанном стремительным германским вторжением в Польшу. Оно означало приближение к советской границе, которую большевики — как я предвидел — готовились нарушить.

За несколько лет до полета Риббентроппа в Москву и подписанного им там соглашения Гитлера со Сталиным эта опасность меня беспокоила. В статье, написанной для большой, консервативной польской газеты «Курьер Варшавский», сотрудником которой я был под псевдонимом Эрго, я предсказал неизбежность советского нападения на Польшу в случае польско-германской войны. Мне возразил в той же газете находившийся тогда в опале противник пилсудчиков, бывший начальник польского главного штаба, генерал Владислав Сикорский, впоследствии возглавивший польское зарубежное правительство в Лондоне и погибший 4-го июля 1943 года в загадочной авиационной катастрофе у берегов

Гибралтара. Он назвал мое опасение ошибкой и заверил, что «Россия никогда не поддержит Германию против Польши».

Этот оптимизм показался мне тогда иллюзией. В сентябре 1939 года он стал очевидной ошибкой. С минуты на минуту я ждал известия о появлении советских войск на польской территории и не соблазнился приглашением добрых друзей «переждать события» в их пограничном имении на Волыни.

Распоряжение об оставлении города меня, формально, не касалось. Я был уроженцем Варшавы, но не польским гражданином, а бесподданным обладателем нансеновского паспорта. Однако, не это повлияло на мое решение. Я был готов уйти куда угодно, но только не в объятия советчиков.

Позже, недели через две, в разгаре германской осады города, немецкое командование согласилось на эвакуацию дипломатов и других иностранцев. Под артиллерийским обстрелом, Б. С. Коверда и я пробрались из Мокотова — той окраины, где мы оба тогда жили — к вице-председателю Общественного Комитета Н. С. Кунцевичу, чтобы, посоветовавшись с ним, добиться включения русских эмигрантов в этот исход. Еще не дойдя до цели, мы поняли, что, даже в случае благоприятного ответа, непрерывная бомбардировка не даст возможности уведомить и собрать русских варшавян.

До разрушения электрической сети германской артиллерией и авиацией, радио было единственным источником сведений о положении. Так я узнал, что демаркационная линия между советской и германской оккупацией Польши пройдет по Висле. Это было затем изменено дополнительным соглашением Берлина с Москвой, но первоначальный раздел отдавал Прагу — восточное предместье польской столицы — большевикам.

Веселый и бесстрашный юноша, Толя Гюббенет, взялся сообщить это настоятелю православного собора Св. Марии Магдалины на Праге, протоиерею Иоанну Коваленко. Это ему удалось, но предупрежденный об опасности священник сказал, что ни он, ни его прихожане не покинут во время осады храма, ставшего их убежищем.

1-го октября 1939 года германские войска вступили в Варшаву. Русской части населения краковского генерал-губернаторства, созданного оккупантами на части польской территории, временно стали угрожать не советские коммунисты, а другие бедствия. Неизбежность потрясения и даже полного разгрома русской жизни на польской земле обозначилась года два спустя — в ноябре 1941 года — когда варшавяне поняли, что Германию постигла под Москвой вряд-ли поправимая неудача.

x

Восточный поход Гитлера стал мне казаться вероятным за несколько месяцев до его вторжения в Россию. Приготовления были настолько явными, что их в Польше видел каждый. К тому же, в январе я получил неожиданное подтверждение догадки.

Свидания со мной попросил немец, назвавший себя Козловским, сотрудником берлинских газет. Разговор состоялся вечером, 21-го января, у камина, в моем кабинете. Собеседнику было, вероятно, лет сорок, но проседь в темных, взъерошенных волосах и глубокие морщины на обветренном лице старили его значительно. С первых же слов я понял, что журналистом его назвать нельзя.

Любой разговор с незнакомцем был в те годы трудным и, порой, опасным. Нужно было быть молчаливым и сдержанным. На этот раз беседа особенно не клеилась. Гость задал несколько вопросов о Русском Комитете, об его работе, но выслушал ответы невнимательно, а затем — с оговоркой, что вопросу не следует придавать значения и что вызван он одним только праздным любопытством — захотел узнать, как отнесутся русские эмигранты к войне Германии с СССР, если эта, совершенно невероятная война когда-либо вспыхнет.

Лед был сломан... Я коротко ответил, что наше отношение к войне будет зависеть от Германии. Я прибавил, что нам известны взгляды фюрера, изложенные в его книге, но мы надеемся, что вождь германского народа пересмотрел написанное лидером национал-социалистической партии. Я сослал-

ся на мою статью в «Часовом», в которой это было сказано подробней и отчетливей.

Козловский записал мои слова. Мы расстались, словно речь шла о погоде. Встретиться с ним еще раз мне не пришлось, но и так стало очевидным, что война на германском восточном фронте неизбежна.

Осенью 1941 года бывший председатель Российского Общественного Комитета Н. Г. Буланов, ставший им после смерти П. Н. Симанского, и я побывали в Берлине. Нам удалось повидать д-ра Георга Лейббрандта, одного из ближайших сотрудников Розенберга. До войны он был начальником внешне-политического штаба национал-социалистической партии. Меня с ним тогда познакомил П. Н. Шабельский-Борк, служивший в Управлении делами русской эмиграции в Германии.

Мы надеялись, что Лейббрандт — родившийся в Херсонской губернии сын немецких колонистов — понимает невозможность завоевания России и обреченность политики, направленной одновременно против большевиков и против русского народа, но ошиблись. Одурманенный первоначальным успехом германского оружия на восточном фронте, он высокомерно сказал, что наша тревога напрасна, так как Германия непобедима и в подсказке не нуждается.

19-го ноября того же года я еще раз съездил в Берлин и был принят штандартен-фюрером Элихом, который позже не только помог генералу А. А. Власову, но, может быть, спас его жизнь, скрыв от Гиммлера доказательства отрицательного отношения русского генерала к национал-социализму. В присутствии нескольких подчиненных Элиху офицеров я сказал, что отношение Германии к русскому народу приведет к катастрофе. Это было записано стенографом, но — к немалому моему удивлению — не повлекло неприятных последствий.

В марте 1943 года я написал состоявшему на службе отдела пропаганды германского гражданского управления в Варшаве д-ру Карлу Грундманну, бывшему до войны польским гражданином и получившему образование в Польше, что в сознании населения оккупированной русской территории

германское вторжение из военного похода — Feldzug — стало походом разбойничьим — Raubzug. Грундманн отнесся спокойно к этому резкому определению. Оно осталось безнаказанным даже тогда, когда он отослал мое письмо в Берлин, министерству пропаганды. Очевидно, существовали немцы — в том числе и национал-социалисты — разделявшие мое мнение.

Все чаще возникал передо мной вопрос: чем кончится война для русских эмигрантов, доверивших мне свою судьбу? Что ждет их в случае все менее вероятной победы Гитлера? Принудительное переселение куда-либо в Бургундию или Ломбардию было бы счастливой участью. Расовое помешательство сулило худшее.

— Я вас очень уважаю — сказал однажды не совсем трезвый полицейский офицер, которому я вручил прошение об облегчении чьей-то участи — но, если фюрер прикажет, я вас, конечно, расстреляю.

Поражение Германии грозило не немецкой, а советской пулей. Первым из членов Русского Комитета заговорил об этом со мной Б. К. Постовский. Он упомянул Фельдкирх — небольшой австрийский город на границе Лихтенштейна. Я не предвидел, что увижу его в последние дни войны, при очень необычных обстоятельствах. Меня привлекал не он, а Равенсбург, расположенный в Вюртемберге, на пути из Ульма к Боденскому озеру. В мае 1944 года семейные обстоятельства дали мне случай там побывать. Попутно, я остановился в Берлине для первой моей встречи с генералом А. А. Власовым.

X

Ничто — 20-го июля — не отражало в Варшаве близости фронта. Днем — что случалось редко — я рано справился с текущими делами и вышел на узкую террасу, окаймлявшую фасад моей квартиры.

Справа, над площадью Трех Крестов, плыл в воздухе серый купол костела Св. Александра, названного так при его закладке в честь русского монарха. Слева, улица упиралась

в Уяздовский госпиталь. В 1942 году на его задворках, за колючей проволокой, в грязных и вшивых бараках умирали от ран, голода, туберкулеза и тифа советские солдаты, искавшие спасения в плену и обреченные на безжалостное истребление.

Горсточка русских женщин, преодолев с моей помощью запреты и препятствия, пошла в эти бараки. Пренебрегая опасностью, она кормила голодных, помогала больным, утешала умирающих и заплатила за этот подвиг двумя жизнями. В июле 1944 года от уничтоженных бараков, на грязном пустыре, остались только поросшие бурьяном груды кирпича и досок. Бывшие жертвы этого ада — если уцелели — больше не нуждались в помощи. В чистых и сытых лагерях веял новый дух, предшественник Пражского манифеста и Русской Освободительной Армии.

Внизу, под террасой, улица была безлюдна. Тяжело ступая по тротуару, прошел пожилой немецкий ефрейтор, в коротких сапогах и поношенном обмундировании. Две женщины в платках, накинутых на плечи, остановились в подворотне, продолжая неторопливый разговор. Небо, неподвижное и бледное, слегка золотилось над крышами, под еще высоким солнцем. Я вернулся в комнаты и включил радио.

До войны мой аппарат улавливал не только Европу, но и прекрасные московские концерты. В тревожной обстановке оккупированной Варшавы мне было не до музыки. В полдень, до завтрака, я выслушивал немецкую военную сводку и больше к радио не прикасался. Это было возможно потому, что подробный бюллетень московских и лондонских передач составлялся ежедневно сотрудником Комитета, опытным журналистом А. К. Свитичем.

20-го июля — после долгого перерыва — захотелось услышать рояль или оркестр, но, вместо них, раздался возбужденный голос. Он говорил из Берлина о движении воинских частей, о распоряжениях какой-то новой власти.

Гитлер — мелькнула мысль — убит... В Германии началась гражданская война... Почему же так спокойна Варшава?..

Ведь, если это правда, здесь, вот-вот, начнется беспощадная резня...

Связи с немецкой оппозицией я не искал, но ее существование не было для меня тайной. В те майские дни 1944 года, когда я впервые увидел в Берлине А. А. Власова, мне пришлось побывать у немца, бывшего киевлянина и родственника одного из комитетских юрисконсультов, адвоката В. А. Яценко. Кроме меня и этого юриста, третьим гостем за обеденным столом был один из бывших министров Веймарской республики. Не стесняясь присутствием двух русских эмигрантов, он взволнованно заговорил о необходимости устранения Гитлера силой.

При всем моем отрицательном отношении к поведению национал-социалистов в Польше и в России, я вернулся в Варшаву озабоченным. Переворот в Берлине — казалось мне — неизбежно станет сигналом к восстанию в захваченных немцами странах. Это было особенно несомненным в Польше, при ее ненависти к оккупантам и сильном, боеспособном подполье. Свержение Гитлера означало немедленный удар поляков по немцам, прежде всего, в Варшаве. Мнимое спокойствие могло ежеминутно смениться бурей. Нужно было проверить впечатление от берлинской радио-передачи. Помог короткий разговор по телефону.

— На фюрера, в ставке — сказал немец, скрывавший под холодной внешностью постоянную готовность помочь русским эмигрантам — было покушение, но он уцелел... Заговорщики пытались захватить власть в Берлине, но потерпели неудачу... В Варшаве все спокойно...

21-го июля, утром, я побывал в Брюловском дворце. Сооруженный в XVIII столетии графом Генрихом Брюлем, министром и доверенным советником короля Августа III, он был, после поражения Наполеона, первой варшавской резиденцией наместника Царства Польского, великого князя Константина Павловича. Независимая Польша разместила в нем министерство иностранных дел. Последний министр, полковник Юзеф Бек, ценой больших затрат вернул обветшавшему зданию былую пышность. Немцы, оккупировав Варшаву, воспользова-

лись им для своих гражданских учреждений. Три небольшие комнаты, в боковом крыле, были отведены отделу национальностей и общественного призрения варшавского губернского управления. Когда, после первоначальных колебаний и ведомственных столкновений, было разрешено создание Польского Попечительного Совета и меньшинственных национальных Комитетов, их подчинили надзору этого отдела.

Его первым начальником был берлинский адвокат Ауэрсвальд, которого сменил взбалмошный баварец Гейнрих. После него началась чехарда — фронт нуждался в пополнении и чиновники все чаще становились солдатами.

Надзор — надо это признать — не был ни придирчивым, ни обременительным. Невелика была и помощь, но, в некоторых случаях, она отвращала немалую опасность. Так, например, Ауэрсвальд отказал члену правления Русского Комитета Г. М. Плотникову в удостоверении об арийском происхождении, но, после нескольких разговоров со мной, подписал другое, в котором было сказано, что «изучение представленных Комитетом документов не обнаружило признаков неарийского происхождения». Трудно было добиться большего для человека — русского и православного — родители которого были несомненными евреями.

Летом 1944 года начальником этого отдела был недавно назначенный на эту должность молодой, молчаливый и очень благовоспитанный немец — фон Тротта. Я знал о нем только то, что он был, до Варшавы, начальником уезда в Коломые. Виделись мы редко — нужда в сношениях была в то лето невелика. Дело, которое привело меня к нему 21-го июля, было настолько незначительным, что я его забыл, но не стерлось в памяти неожиданное завершение разговора.

Я поднялся и хотел проститься. Остановив меня движением руки и назвав меня так, как это часто делали немцы, он спросил негромко, но отчетливо:

— Не думаете ли вы, господин фон Войцеховский, что смерть Гитлера была бы благом для Германии?

Это могло быть провокацией или доказательством необыкновенного доверия. Что-то в повадке, во всем облике

фон Тротта исключало первое предположение. Я ответил медленно, взвешивая каждое слово:

— Думаю, что, удайся покушение, мы бы сегодня встретиться здесь не смогли.

X

23-тье июля было воскресеньем. Бюллетень А. К. Свитича показался тревожным. Советское наступление перешагнуло Буг. В московской сводке военных действий был упомянут Седлец. Это меня взволновало. Детский лагерь в Михалине и приют в Свидере все еще находились на правом берегу Вислы. Им угрожала опасность внезапно увидеть советские танки. Я сказал жене, что должен немедленно там побывать.

С 1940 года летние лагери Комитета и Дом Русской Молодежи в Варшаве были моим любимым детищем. Начало было трудным — не хватало средств и опытных руководителей, да и участие детей и молодежи в лагерях было для русских варшавян новинкой.

До войны в польских университетских городах существовали союзы или, по меньшей мере, кружки русских студентов, а в Варшаве, с перебоями, Общество Русской Молодежи, но они не имели навыка к скаутским методам общения с детьми и подростками. Попытки создания русских скаутских отрядов пресекались польским правительством, а в 1938 году оно постановило приступить к искоренению всех проявлений русской общественной жизни в стране. Помешала этому война.

П. А. Жирицкий, бывший, до вторжения германских войск в Польшу, членом национального кружка русской молодежи в Лодзи и изучивший скаутизм в польской организации, получил в 1940 году согласие Комитета на создание летнего лагеря в Свидере. Начало было примитивным. На лужайке, обрамленной лесом, участники лагеря ночевали в шалашах и самодельных палатках, готовили пищу над костром, обмывали кружки и кастрюли в мелководной речке, но погоны их рубах были украшены трехцветной ленточкой, а на мачту

ежедневно поднимался русский флаг. Это привлекло внимание и помощь. Почин оказался удачным.

После него, более многолюдные и благоустроенные лагери русской молодежи пользовались в том же Свидере усадьбой, предоставленной А. А. Соллогубом. Скауты жили там не в палатках, а в неказистых, но еще крепких деревянных дачах. На спортивной площадке устраивались состязания, которыми руководил Г. М. Шульгин. По воскресеньям и праздникам приезжавший из Варшавы священник служил литургию в превращенной в часовню беседке. В 1942 году впервые, кроме варшавян, участниками лагеря были русские юноши и девушки из Радома и Ченстохова, но неприятный случай нанес всему этому непредвиденный удар.

Начальником лагеря был в то лето Б. Б. Мартино, обладавший необыкновенной способностью привлечь сердца молодежи. Он был одним из тех членов Национально-Трудового Союза, которых эта организация переправляла из Югославии, Франции и Германии в Польшу и, оттуда, на занятую германскими войсками русскую территорию. Вначале это делалось под видом возвращения беженцев, спасавшихся в Варшаве от советской оккупации Волыни и Полесья. Удостоверения, выданные им Русским Комитетом, заменяли пропуска. По просьбе А. Э. Вюрглера, совмещавшего принадлежность к правлению Комитета с возглавлением Н.Т.С. в Польше, я подписал не менее 230 таких фиктивных удостоверений. Мне это тогда казалось выполнением патриотического долга.

Б. Б. Мартино, приехав из Белграда, хотел двинуться дальше, в Минск или Смоленск, но заболел. Поправившись, он занялся в Варшаве русским Домом Молодежи и преобразил его талантливым руководством. Назначение в лагерь было наградой за эту удачу.

В Свидере, к сожалению, он проявил крайнюю несдержанность в споре с молодой участницей лагеря и ударил ее. Расследование установило, что на правдивые показания его друзей по Н.Т.С. рассчитывать не приходится. Пришлось его сменить. Начальником лагеря стал А. В. Шнее, принадлежавший тогда к той же, что и Мартино, политической органи-

зации, но позже — по другой причине — с нею порвавший. В 1943 году лагерь был переведен из Свидера в соседний дачный поселок Михалин и из скаутского стал детским.

X

Готовность русских варшавян доверить Комитету детей в опасное, военное время налагала на меня немалую ответственность. Я ее сознавал, когда приехал в лагерь на молебен по случаю его открытия — 9-го июля — и думал о советском наступлении. Две недели спустя я понял, что настала срочная необходимость вернуть детей в Варшаву.

Накануне А. В. Шнее сообщил, что в Михалине спокойно. Не только не было ни одного отъезда детей из лагеря, но даже поступила просьба принять двух мальчиков. Польские партизаны, по его словам, опасностью для лагеря не были. А. В. Шнее столкнулся с ними когда — на третий день существования лагеря — захотел с одним своим русским сослуживцем по варшавскому городскому молочному хозяйству, выкупаться в Висле. Идти к реке пришлось по песчаной тропинке, сквозь ельник, отделенный от лагеря густым кустарником. Внезапно, на повороте, раздался по-польски окрик:

— Стой!

Юноша с винтовкой на перевес показался из-за дерева. Двое других, также вооруженных, отрезали отступление. Пришлось поднять руки. Пленников обыскали и отвели на полянку, где человек, похожий на офицера, потребовал предъявления документов. Ему были показаны регистрационные карточки, выданные оккупационной властью населению генерал-губернаторства. Русская национальность обладателей была обозначена большой буквой. Из леса доносились отрывистые возгласы — шло военное учение.

Вернув бумаги, офицер спросил, чем А. В. Шнее и его спутник занимаются в Михалине. Выслушав ответ, он прекратил допрос и заговорил о вторичном, за пять лет, вторжении советских армий в Польшу. Их приближение к Варшаве его явно тревожило.

Разговор стал дружелюбным. Поручик — как его называли партизаны — предупредил, что не отпустит задержанных до окончания учения. Не побывав на Висле, они вернулись в лагерь часа через три.

X

Сказав жене, что сообщу из Свидера по телефону, долго ли там пробуду, я, на главном варшавском вокзале, сел в дачный поезд. Он был пуст, но когда вагоны, вынырнув из подземного тунеля на железнодорожный мост, оказались над Вислой, я увидел, что ее берега, ставшие со времени войны безлюдными, усыпаны, как разноцветным бисером, яркими пятнами купальных костюмов. Не сотни, а тысячи варшавян грелись на песке или плескались в воде. Они, очевидно, считали, что дни германской оккупации сочтены и беспокоиться больше не о чем, но меня это мнимое спокойствие не обмануло. Оно не ослабило тревоги, вызвавшей поездку.

Находившийся в Свидере приют — его первая цель — был создан летом 1941 года в Брест-Литовске самоотверженной русской женщиной, пожелавшей помочь брошенным на произвол судьбы детям убитых или бежавших советских офицеров и служащих. Не знаю, сколько их было первоначально, но более 70-ти было эвакуировано ранней весной 1944 года в краковское генерал-губернаторство и оказалось на попечении варшавского Русского Комитета.

А. В. Шнее хотел воспользоваться близостью Свидера к Михалину, чтобы приобщить приют к жизни детского лагеря, но это ему не удалось. Приютские дети отличались от варшавян не только внешне — однообразной одеждой и наголо остриженными головами мальчиков — но и молчаливой скрытностью. Некоторые помнили пропавших без вести родителей. В этом я случайно убедился.

Вскоре после эвакуации приюта из Бреста, мне пришлось побывать в небольшом польском городе — Ченстохове — где им была оставлена девочка лет десяти, заболевшая в пути и отданная на попечение местных русских старожилов. Войдя в их дом, я положил на стол оружие, с которым, в те

трудные годы, не расставался. Увидев мой семизарядный вальтер, девочка, вероятно, вспомнила отца и воскликнула восторженно и радостно:

— Наган!

x

Основательница приюта сидела на террасе старой, запущенной дачи, за накрытым столом. Она пила чай с архимандритом Мстиславом Волонсевичем, приезжавшим по воскресеньям в Свидер для богослужений. Он был членом делегации Комитета в Жирардове под Варшавой, называл себя противником коммунизма и, в дни наибольшего успеха Гитлера, усиленно, хоть и неудачно, добивался епископской кафедры в Крыму. После войны он перебежал в Берлине из западной зоны в советскую, признал московскую патриархию и получил от нее желанный сан.

Прервав их мирное чаепитие, я сказал, что передовые советские части подошли к Седлецу и что, поэтому, нельзя медлить тем, кто не хочет их увидеть. Архимандрит вскочил и скрылся, не простившись. Начальница приюта ответила спокойно и твердо, что предпочитает остаться в Свидере. Это, может быть — прибавила она — поможет детям найти родителей, да и двинуться приюту некуда.

Времени на спор не было, да и спорить не хотелось. Доводы были убедительны. Все же сердце сжалось, когда, сойдя с террасы в большой, запущенный сад, я увидел ребят, празднично одетых в белые блузы и синие юбочки или штанишки. Одни — пугливо, другие — равнодушно смотрели на меня, но две-три девочки подбежали и прижались к моим рукам, в надежде на привет и ласку. Я погладил их русые головки и, не оглядываясь, вышел за калитку.

x

Нужно было исполнить обещание, данное жене. Я хотел сказать по телефону из усадьбы знакомых, живших летом в Свидере, что побывал в приюте, поеду в лагерь и вернусь не скоро, но она меня перебила:

— Знаешь ли ты, что немцы увозят свои семьи из Варшавы? У нас побывал Б. К. Постовский. Он привез мне и нашей дочери пропуск в Равенсбург. Поезд отойдет в два часа, с восточного вокзала. Что ты мне посоветуешь? На всякий случай, я собрала вещи, но ждала твой звонок..

— Уезжайте — ответил я — даст Бог, увидимся...

Я не мог вернуться в город, не позаботившись о детском лагере. Ничто меня к этому не принуждало, кроме воспитания, с детства готовившего к службе государству. Я был школьником, когда рухнула империя, но в эмиграции возникнул новый, общественный долг. Комитет был для русских варшавян единственным заступником и прибежищем. Я не мог обмануть их доверие.

Сказав жене еще несколько слов, я прервал разговор и вызвал к телефону А. В. Шнее. Я приказал немедленно закрыть лагерь; сдать детей тем родителям, которые на воскресенье приехали в Михалин, а остальных перевезти в городской Дом Молодежи. Я предупредил, что дождусь на станции в Свидере известия о выполнении этого распоряжения.

X

На вокзале, в неурочный час, толпа дачников ждала поезда в город. Она казалась спокойной, но, конечно, знала, что эвакуация немцев из Варшавы началась. События придвинулись вплотную. Красноречивым доказательством были плакаты, прибитые к деревьям в двух шагах от станции. Белый Орел — польский герб — поднимал на них свои крылья на малиновом щите. Одинокий всадник выехал из лесу, взглянул на толпу, круто повернул и ускакал в сторону Михалина. Партизаны — мелькнула мысль — прислали разведчика. Первый поезд пришлось пропустить. Наконец, показался А. В. Шнее.

— Ваши указания — доложил он — исполнены. Дети идут из лагеря пешком, но удалось раздобыть подводы для перевозки их вещей.

Погрузка прошла благополучно. Дома я застал тишину. Канцелярия, ради праздника, не работала. У входных дверей, в небольшой комнате, дремал дежурный. Домоправительница

взволнованно сообщила, что моя жена и дочь давно уехали на вокзал. Тесть, старый генерал, вернувшийся из дальней церкви, их не застал.

x

В том же вагоне, что и моя семья, Варшаву покинула девочка, которую тогда называли Лялей Егоровой. Нельзя говорить о ней, не сказав, предварительно, несколько слов о Б. К. Постовском.

Он был сыном сенатора, мимолетно побывавшего министром юстиции в бурные дни 1905 года. Воспитывался в Петербурге, в Императорском Училище Правоведения, которое почему-то не окончил; получил высшее образование на юридическом факультете столичного университета; в первую мировую войну был в санитарном поезде уполномоченным Красного Креста.

Революция его не разорила, так как принадлежавшее ему полесское имение отошло по Рижскому договору к Польше. Он в нем не жил, а занялся продажей изделий польских и карпатских кустарей в другие страны, преуспел на этом поприще, был даже правительственным комиссаром польского павильона на международной выставке в Кенигсберге. В 1940 году, при создании Русского Комитета в Варшаве, его выдвинул в правление кружок бывших членов Общества Русской Молодежи в Польше. Сердце мое никогда к ним не лежало и предчувствие не обмануло. После поражения Германии, в 1945 году, возглавители этого кружка — Д. Д. Шумилин и В. В. Макшеев — стали в Польше активными сотрудниками коммунистической власти. На Б. К. Постовского это тени не бросает — до конца своей жизни он остался противником большевиков.

Основной чертой его характера была напористость. Он не умел и не хотел замкнуться в рамки общественной дисциплины. Это приводило к столкновениям с теми членами комитетского правления, компетенцию которых он иногда нарушал своим вмешательством. Приходилось улаживать эти

споры и закрывать глаза на то, что порой он отзывался критически и обо мне.

Я ценил его активность, полезную русским варшавянам. Не ограничиваясь в Комитете отведенными ему по уставу рамками возглавителя торгово-промышленного отдела, он охотно брался за любое, полезное и нужное дело. Я был особенно рад его участию в сношениях с немецкими учреждениями в Кракове и Варшаве — низкопоклонством он не страдал и никогда не унижал русское достоинство. Его настойчивость помогла мне наладить помощь советским военнопленным в Уяздовском госпитале. Он же создал в Варшаве русскую общину сестер милосердия, заботившихся в германских военных лазаретах о т. н. восточных добровольцах.

Неоднократно он обращался ко мне с просьбой о помощи тому или иному русскому эмигранту. Все же я удивился, когда, летом 1943 года, он попросил меня подписать удостоверение о русской национальности девочки, которую назвал Еленой Егоровой, дочерью пропавшего без вести офицера. Ею, по его словам, занялась, после исчезновения отца, хорошо мне известная русская варшавянка.

Просьба была незначительной, но именно поэтому показалась мне странной. Она была очевидной попыткой обойти установленный порядок выдачи таких удостоверений. Ей предшествовала проверка, которой занимался не я, а главная канцелярия Комитета на Аллее Роз. Мне докладывались только редкие, сомнительные случаи. Явное желание Б. К. Постовского нарушить установленное правило показалось мне странным. Я сказал, что хочу увидеть ребенка.

x

Дня через два в мой кабинет вошла с Постовским девочка, которой — по данным предъявленной мне анкеты — было десять лет. Выглядела она старше и была тщательно, нарядно одета. Мало кто так одевал тогда в Варшаве детей. Светлая соломенная шляпка была украшена синей бархатной лентой. Из-под нее на плечи ложились волной темные кудри. Матросская блуза и короткая юбка не вязались с ростом и

сложением, но красивое, спокойное лицо могло быть названо детским.

Б. К. Постовский был — по обыкновению — словоохотлив. Девочка, остановившись у двери, не сказала ни слова. Я взглянул на нее, нажал на письменном столе янтарную кнопку звонка, вызвал из канцелярии моего секретаря, передал ему анкету, в которой Елена Егорова была названа дочерью русского и грузинки, и распорядился приготовить удостоверение. Подписав его, я подвергнул не только себя, но и мою семью, смертельной опасности, угрожавшей каждому, кто — хоть косвенно — был причастен к укрывательству евреев, но мог ли я отказать в помощи ребенку? Я подчинился одному из тех душевных движений, которые сильнее осторожного рассчета.

X

Правду о Ляле рассказала мне позже та дама, которая заботилась о ней в Варшаве. Лишившись сына, считавшего себя поляком и погибшего в страшном немецком лагере Аушвитце, она помогла не только этой девочке. Назвать ее я, к сожалению, не могу — она не хочет ни славы, ни награды.

Елену Егорову в действительности звали Геней Розенманн. Она родилась в 1929 году, в Белостоке, где ее родители были расстреляны немцами в гетто. Б. К. Постовский омолодил ее в анкете на несколько лет. Тетке — сестре матери — удалось переехать со своей семьей и Лялей из Белостока в Варшаву. Там все они — кроме Ляли — были расстреляны 13-го мая 1942 года. Выдал их поляк, домовладелец, сдавший им квартиру и получивший за это немалые деньги. Лялю — за две недели до их гибели — спасла готовность русской женщины ее приютить.

С этой дамой и с моей семьей она, в июле 1944 года, благополучно доехала из Варшавы в Равенсбург, где — в течение трех лет — принадлежала к собравшейся в этом городе многолюдной русской колонии, состоявшей, главным образом, из варшавян. В Израиле, куда она затем пересели-

лась к родственникам и где создала счастливую семью, Ляля Егорова не забыла своих русских друзей.

x

Внезапный отъезд жены и дочери был для меня тяжким ударом. Я не знал, что ждет их в пути. Я не был уверен в том, что когда-либо их увижу. Помочь им я ничем не мог. Предстояло выполнение долга перед теми русскими людьми, над которыми повисла опасность захвата Варшавы советской армией. Предположив, что фон Тротта, несмотря на воскресенье, должен быть в Брюловском дворце, я связался с ним по телефону.

— Сделаю все возможное — обещал он — но пришлите списки тех, кому нужны пропуска.

В картотеке Комитета значились — по одной только Варшаве — восемь тысяч имен. Летом 1943 года, в предвидении неизбежной катастрофы, они были разделены на группы по числу русских варшавян, обладавших телефонами. В каждую группу, кроме владельца аппарата, были включены его семья и не слишком дальние соседи. Остались пробелы, но я надеялся на то, что в критическую минуту они заполнятся сами.

Первыми на возникшую в городе тревогу откликнулись служащие моей канцелярии. К вечеру все они были в сборе. Я рассказал им разговор с фон Тротта и прочитал написанное мною и обращенное к членам Комитета извещение. Двое занялись его распространением по телефону. Остальные помогали — делали отметки в картотеке, занялись приготовлением первых списков. На это ушла вся ночь.

— Немецкие семьи — написал я — покидают город. Комитет надеется, что ему удастся эвакуировать русских варшавян, не только женщин и детей. Нужно срочно составить списки желающих уехать. Включить ли вас в него? Пожалуйста, передайте это сообщение вашим русским соседям. Запишите их фамилии и адреса. Комитет не может их предупредить, так как телефона у них нет.

Я ожидал, что каждый, услышавший это извещение, благодарно и положительно откликнется, но ошибся. Кроме признательности и слезной просьбы не забыть, помочь, спасти, моим сотрудникам пришлось выслушать смущенные ответы тех, кто благодарил за внимание, но прибавлял, что болезнь или семейные обстоятельства заставляют остаться в Варшаве. Во многих случаях привязанность к квартире, к мебели, к имуществу была сильнее страха перед надвигавшейся опасностью.

На рассвете я предоставил служащим короткий отдых. Все они обещали вскоре вернуться в канцелярию и все, с одним исключением, обещание исполнили.

x

Кроме эмигрантов и польских граждан русского происхождения, в Варшаве было тогда немало новых беженцев из России. Некоторые попали в общежитие, которое немцы почему-то называли карантином, хоть на карантин оно похоже не было. Другие ютились, где могли. Арендованное Комитетом небольшое здание Гранд-Отеля на Хмельной улице вмещало свыше 150-ти священников, профессоров, инженеров, врачей и их семьи. На частных квартирах жили православные епископы, возведенные в этот сан в годы германской оккупации Украины и Белоруссии. Я не сомневался в том, что все эти новые эмигранты не захотят остаться в эвакуированном немцами городе, и не ошибся.

С раннего утра — 24-го июля — бывшие советские граждане потянулись к дому, в котором я жил. Многие пришли с вещами — скудным скарбом, проделавшим далекий путь с берегов Кубани, Дона и Днепра. Не только лестница на третий этаж, но и тротуар на улице, заполнились встревоженной толпой. Я приказал вынести стул во внутренний двор и, поднявшись на него, сказал, что Комитет позаботится о новых беженцах, как о собственных членах. В этот и в следующие дни, до завершения эвакуации, этот стул неоднократно заменял мне трибуну.

x

Я знал, что могу положиться на канцелярию. За исключением одной, только что принятой на службу барышни, не вернувшейся после бессонной ночи, она состояла из верных, преданных делу людей. Все же, внезапная перемена обстановки повлияла и на них. Все вокруг рушилось. То, что накануне казалось нужным, вдруг лишилось значения. Надо было опять их подчинить одной, направляющей воле.

В 1940 году, в день моего переезда с прежней квартиры на Вейскую улицу, канцелярией была заведена книга для записи посетителей. Ее практическое значение оказалось незначительным. Она — надо сознаться — была подражанием порядку, заведенному берлинским Управлением делами русской эмиграции. Число посетителей можно было бы установить, в случае надобности, и без подробной, именной записи, но, раз начатая, книга заполнялась ежедневно. Выйдя 24-го июля из моего кабинета в приемную, я заметил, что на столе у дежурного ее нет. Несмотря на толпу, добивавшуюся входа в канцелярию, я потребовал возобновления записи. Это показало служащим, что установленное правило должно соблюдаться до отмены.

X

Вечером, в тот же день, фон Тротта известил меня, что Словакия согласилась принять русских варшавян. Он сообщил приблизительное время отправки первого эшелона и обещал предоставить Комитету товарный вагон для перевозки архива и имущества в Равенсбург. Бывший член правления Российского Общественного Комитета в Польше Г. А. Малюга и А. В. Шнее взялись этот вагон сопровождать. Первенство принадлежало, однако, спасению людей, а не вещей. Ради них, я решил пожертвовать большей частью архива и всем имуществом, в том числе и моим, кроме национальных реликвий.

Пока в приемной составлялись списки желающих уехать из Варшавы; пока списки эти отвозились для получения пропусков в открытое фон Тротта вблизи Комитета временное отделение возглавленного им учреждения; пока в моей

столовой сидели на узлах и чемоданах семьи тех моих сотрудников, которым предстоял отъезд в Словакию, в канцелярии началась поспешная упаковка. Были вынуты из рам портреты императоров, полученные до войны Российским Общественным Комитетом от варшавского польского окружного суда, в них, конечно, не нуждавшегося. Из особняка на Аллее Роз был доставлен великолепный, дворцовый портрет императрицы Марии Александровны, супруги Царя-Освободителя — дар тому же Комитету от польского Красного Креста. Был положен в ящик тяжелый мраморный бюст этого монарха — памятник, установленный по случаю 50-ой годовщины введения судебных уставов в Царстве Польском в бывшем дворце Красинских, простоявший там до оставления Варшавы русскими войсками в 1915 году и приобретенный мною 20 лет спустя с торгов, на которых он был назван «ненужным камнем». Из Дома Русской Молодежи было привезено освященное в Свидере знамя русских скаутов, которое — после войны — я передал побывавшему у меня Б. Б. Мартино для Организации Русских Юных Разведчиков.

x

Во второй половине дня — 25-го июля — дежурный доложил, что меня хочет видеть редактор Н-ский. В Польше, до войны, редактором называли каждого журналиста. Н-ский был тогда сотрудником популярной, консервативной польской газеты, для которой я изредка писал короткие заметки на русские темы. Мы встречались в редакции, но знакомство было поверхностным. Польский националист и ревностный католик он, в годы германской оккупации, по слухам примкнул к сопротивлявшемуся ей партизанскому отряду. Его появление в Комитете, в разгаре приготовлений к эвакуации русских варшавян, было странным и необъяснимым.

Лучше Н-ского я знал его родственника — писателя и соредактора той же газеты. Он тоже был поляком, но человеком западной, европейской складки, терпимым и мягким. Доброжелательно и бескорыстно, он исправлял мои рукописи, пока я не научился писать по-польски правильно, и со-

действовал их появлению в печати. Это стало началом наших добрых отношений, но охватившая Польшу в 1938 году волна воинствующего шовинизма мое участие в польской печати прекратила. Об его судьбе в военные годы я ничего не знал. Кто-то утверждал, что видел его в Лондоне. Поэтому, я крайне удивился, когда, вместо Н-ского, в мой кабинет вошел он. Мы обнялись и расцеловались. Нежданный гость сказал, что хочет со мной поговорить, но не в Комитете. Я ответил, что охотно выйду с ним в город. Осторожно протиснувшись по лестнице, запруженной людьми и вещами, мы спустились вниз.

На Мокотовской улице, наискосок от Вейской, существовала небольшая кондитерская, принадлежавшая русской вдове адвоката-поляка. Там, в уютной обстановке, можно было выпить чашку кофе и съесть вкусное пирожное. Подавали их к столикам польки, не занимавшиеся этим до войны. Одной из них была высокая, красивая брюнетка — артистка София Андрыч. Я не знал, что она — жена бежавшего из немецкого концентрационного лагеря левого социалиста Станислава Цыранкевича будущего премьер-министра коммунистической Польши.

В этот тревожный день посетителей, кроме нас, в кондитерской не было. Мы сели за столик в темноватом углу. Пианист, скучавший за роялем, прикоснулся к клавишам — раздалось томное танго. Нам это было кстати — можно было поговорить свободно.

С. — я вынужден ограничиться этой буквой — спросил, намерен ли я эвакуироваться из Варшавы. Услышав, что день отъезда мною не решен, он посоветовал его ускорить. Я спросил причину. Он сослался на приближение советских войск к Варшаве и прибавил, что немцы к обороне не способны. Я возразил, назвав немецкое сопротивление возможным.

— Без боя — сказал я — они Варшаву не сдадут.

С., однако, настойчиво повторил совет:

— Уезжайте возможно скорее... До 30-го июля мы обеспечим вашу безопасность... После, мы ни за что не ручаемся...

Я понял, что он сказал это не только по своему почину. Кто мог его прислать? Только поляки и, притом, причастные к конспиративному подполью. Не значит ли предупреждение, что они готовы к вооруженному восстанию?

— Скажите — спросил я — не понадобятся ли вам, после 30-го июля, радио-аппараты?.. В Комитете, на Аллее Роз, сложено их около двухсот, сданных русскими эмигрантами на хранение... Придется их там оставить... Если сможете, воспользуйтесь ими... Пусть это будет благодарностью за дружеское предупреждение...

С. улыбнулся... Ничто прямо сказано не было, но мы поняли друг-друга. Пора было вернуться на Вейскую — мое отсутствие могло показаться странным. Мы еще раз обнялись и распрощались.

Он пережил варшавское восстание и, к счастью, уцелел. В ноябре 1944 года мы случайно встретились на улице, в Кракове, но поговорить не удалось. До сих пор не знаю, что его побудило придти ко мне в июле. Из воспоминаний участников восстания теперь известно, что оно должно было начаться до 30-го июля, но было дважды или трижды отложено.

x

Комитет ничем не заслужил внимания и, тем более, благодарности польских тайных организаций, боровшихся с Германией. Связи с ними я не искал, сознавая ее опасность не только для меня, но и для всех русских эмигрантов в оккупированной немцами Польше. Дважды, однако, пришлось сообщить полякам отношение Комитета к обстоятельствам, вызванным войной.

В 1939 году, после поражения Польши, в Варшаве возникла состоявшая из пяти-шести польских граждан русского происхождения группа, провозгласившая своей целью захват нескольких католических храмов, превращенных русской властью после второго польского восстания в православные церкви и возвращенных католикам независимой Польшей. Вдохновителем этой группы был пожилой человек, состояв-

ший до германского вторжения профессором православного богословского факультета варшавского университета и еще недавно усердно кадивший Ватикану на униатском съезде в Велеграде.

Свое внимание эта группа обратила на польский гарнизонный костел. Профессора прельщал не столько он, сколько принадлежавшие ему доходные дома, но попытка захвата кончилась плачевно. Католики свою святыню отстояли. В пылу возникшей свалки, воинственный богослов разбил палкой витраж, украшенный польским гербом. Комитет этот поступок осудил и исключил виновника из числа своих членов. Это постановление было сообщено варшавскому архиепископу, кардиналу Каковскому, посетившей его русской делегацией.

Летом 1943 года почта доставила мне заказное письмо. Оно было адресовано по-немецки. Отправитель указан не был, а его адрес — несуществующий номер дома на улице Солец — был, очевидно, ложным. Вскрыв конверт, я нашел в нем обращенное ко мне, как к председателю Русского Комитета, распоряжение тайного делегата польского эмигрантского правительства. Подпись — несомненный псевдоним — была неразборчивой. Круглый оттиск оборотной стороны польской монеты — Белого Орла — заменял печать. «От имени и по поручению правительства Речи Посполитой, временно пребывающего в Лондоне — было сказано в письме — сообщаю и предписываю Вам нижеследующее».

За этим вступлением следовали три пункта. Первый был обвинением членов Комитета в том, что они пользуются средствами передвижения, предназначенными немцам, как, например, передними площадками вагонов варшавского трамвая. Представитель польского зарубежного правительства назвал это недопустимым. Во втором было отмечено — со ссылкой на долгое наблюдение — что русские варшавяне и даже председатель Комитета бывают в немецких ресторанах, нарушая этим лояльность польских граждан к государству. Третьим пунктом делегат лондонского правительства обратил мое внимание на то, что члены Комитета «носят значки, выделяю-

щие их, как группу, пользующуюся предоставленными оккупантом преимуществами». Мне предписывалось «в осторожной форме обратить внимание членов Комитета на недопустимость этого обыкновения и побудить их к его прекращению».

Требования сопровождались ссылкой на законы, принятые польским правительством после его бегства в Румынию, и на предусмотренные этими законами кары за их нарушение. Не будь этой угрозы, письмо было бы вежливым, почти любезным. Его автором был, несомненно, кто-то, причастный в прошлом к польскому министерству внутренних дел. Буквы, предшествовавшие номеру письма, совпадали с теми, которыми до войны обозначал свою переписку отдел национальных меньшинств политического департамента этого министерства. Упреки были мелочны, а распоряжения невыполнимы, но я не захотел промолчать и пригласил двух поляков на чашку чая.

x

Одним из них был пожилой человек, которого я знал давно, с начала двадцатых годов. Он был консерватором и, внешне, типичным польским шляхтичем. Долго прожив, до революции, в России, он, как многие поляки, сроднился с нею и руссофобом не был. По возрасту и по характеру он вряд ли мог быть участником активного подполья, но я дорожил его мнением и хотел, чтобы он услышал мое.

Второй принадлежал к другой среде. Сын зажиточных крестьян, получивший высшее образование во Львове, он делал до войны удачную служебную карьеру и осторожно плыл по течению политики Пилсудского и его преемников. Оккупация скомкала и разбила его жизнь. Связь с подпольными организациями была, в его случае, вероятной.

Они встретились у меня впервые и сразу поняли, что я их пригласил не для пустого разговора. После первых, неизбежных вступительных слов, я показал, а затем прочитал им письмо правительственного делегата и воскликнул взволнованно и резко:

— Считаю это возмутительным... Если у польского правительства в Лондоне нет большей заботы, чем слежка, с какой площадки входят в трамвай русские варшавяне, то я его с этим поздравляю... Скажу вам прямо, что я это требование отвергаю... Обвини меня ваше правительство в выдаче поляков немцам и пригрози оно расстрелом, я бы это понял, но в этом, слава Богу, оно упрекнуть меня не может. Настаивать же на том, чтобы русский эмигрант не лез в вагон спереди, когда сзади войти невозможно, смешно и странно... Скажите сами, могу ли я заставить человека отказаться от дешевой похлебки, которой он утоляет голод в немецкой столовой? Многие поляки делают то же, когда это им удается... А о значке Комитета скажу вам, что на нем не свастика, а Двуглавый Орел, и носим мы его не с согласия немцев, а вопреки их прямому запрету...

— Вы — заключил я спокойнее — мои польские друзья... Пользуюсь вашим присутствием, чтобы назвать полученное мною предписание невыполнимым... Я ему не подчинюсь, не взирая на последствия...

x

Осенью того же года, на рассвете, меня разбудил дежурный, сказав, что заплаканная полька умоляет меня ее немедленно принять. В приемной я застал жену моего второго июньского гостя. Она рассказала, что муж был ночью арестован и увезен в Гестапо.

— Ради Бога, помогите — умоляла она.

Положение было трудным. Арестованный был поляком, пилсудчиком и, вероятно, участником тайной организации. Что мог я сделать в его защиту? Правительство генерал-губернаторства запретило национальным Комитетам обращения к учреждениям, подведомственным Гиммлеру. Это было одним из проявлений бюрократических трений между Краковом и Берлином. Каждое ходатайство, обращенное к полиции, нуждалось в предварительной санкции отдела национальностей и общественного призрения. После Ауэрсвальда и Гейнриха, его начальником в Варшаве был молодой силез-

ский юрист, более всего опасавшийся призыва в армию и, поэтому, крайне осторожный. Представить его себе защитником бывшего польского чиновника я не мог. Объяснив это несчастной женщине, я прибавил, что должен подумать.

Утро прошло в мучительных колебаниях. Решение созрело внезапно, когда я, для успокоения, вышел из дому на короткую прогулку. На площади Трех Крестов, где поляки часто собирались вокруг мегафонов, чтобы услышать германскую военную сводку и другие сообщения, кучка людей стояла у стены одного из зданий, перед наклеенным большим красным объявлением. Я знал, что такие плакаты появлялись в Варшаве после каждого убийства немца польскими террористами и содержали списки обреченных на расстрел заложников. На этот раз, упомянуто было сто имен. Все были названы коммунистами. Всем угрожала казнь. Во втором столбце, в алфавитном порядке, я увидел имя и фамилию моего недавнего гостя.

Вернувшись бегом в канцелярию, я ее предупредил, что еду в Брюловский дворец. Я не знал, удастся ли попытка спасти осужденного, но понял, что могу сделать это безопасно для себя и для Комитета. Любезно принятый, я начал разговор заявлением, что хочу поговорить о не совсем обыкновенном случае.

— Боюсь — прибавил я — что престиж германской власти в Варшаве может пострадать...

Не дав собеседнику времени опомниться, я сообщил ему, что случайно увидел список приготовленных к расстрелу заложников, обвиненных в коммунизме, и обнаружил в нем имя человека, который никогда коммунистом не был.

— Многие русские эмигранты — сказал я — знали его хорошо... Многим он помог, пользуясь до войны своим служебным положением... Если они узнают, что он расстрелян, как коммунист, это подорвет доверие к немецкой власти.

Мои слова были соломинкой, за которую хватается утопающий, но доля правды в них была. Названный мною человек действительно состоял до войны на польской государственной службе по министерству внутренних дел. Он, ко-

нечно, не был коммунистом, но я преувеличил и приукрасил его помощь русским эмигрантам, чтобы оправдать ходатайство. В действительности он в прошлом был послушным орудием польской политики и лишь накануне нападения Германии на Польшу понял вред, причиненный его отечеству шовинистическим разгулом разрушителей православных храмов на Холмщине и тайным циркуляром генерала Славой-Складковского об искоренении всех проявлений русской общественной жизни. Мой ход не был убедительным, но ничего другого я сделать не мог. Я надеялся вызвать в немецком юристе отпор формальной неправде, причислившей арестованного к коммунистам. Эта надежда меня не обманула. Вопреки всему тому, что творилось в городе, охваченном террором и контр-террором немцев и поляков, мой знакомый был на третий день освобожден. Уцелел ли он после войны, я не знаю.

X

Кроме разговора с С., мне — в эти необыкновенные дни — была суждена еще одна удивительная встреча, но 26-ое июля началось не ею. Со мной простились служащие Комитета, уезжавшие с семьями в Словакию — правитель моей канцелярии А. В. Полянский, его помощник К. К. Яворский и другие. Из членов комитетского правления только Н. С. Кунцевич пожелал разделить мою участь, как бы она ни сложилась. Четверо служащих поступили так же. Я никого не задерживал — невнятный гул советских орудий доносился издалека.

Отправка первого эшелона должна была состояться днем. Я поехал на главный варшавский вокзал с Г. А. Малюгой, которому — в тот же день — предстоял отъезд в Равенсбург с сохраненной частью моего архива. Состоявший из вагонов третьего класса поезд стоял на запасном пути. Перед ним выстроились уезжавшие — русские варшавяне и новые беженцы — со своими вещами. Посадка еще не началась.

— Митрополит приехал — воскликнул кто-то.

Действительно, вдоль поезда, направляясь ко мне шел митрополит Дионисий в сопровождении двоих или троих

священников. Остальное православное духовенство предпочло остаться в городе. Я подошел к митрополиту, принял его благословение и, по окончании посадки, простился с ним в вагоне.

Это было нашей последней встречей, завершившей долгие, драматические отношения. До 1939 года я был упорным, непримиримым и — должен сознаться — не всегда справедливым противником его политики. Она казалась мне угодливой, уступавшей всем требованиям польского правительства и отрывавшей православие в Польше от его русских корней. Не связанный участием в церковной жизни отвергнутой мною польской автокефалии, я недостаточно считался с трудным положением митрополита, созданным крушением России и ее порабощением коммунистами.

Первый удар этой непримиримости был нанесен первоиерархом русской зарубежной Церкви, митрополитом Антонием, откликнувшимся на приглашение митрополита Дионисия побывать в Польше и не приехавшим туда из Югославии только потому, что польская печать резко этому воспротивилась. Встреча двух иерархов состоялась, однако, в Бухаресте и была как бы признанием польской автокефалии русской заграничной Церковью.

Вторым ударом стала — в 1939 году — неудачная попытка упразднения автокефалии и грубое вмешательство немцев в этот церковный спор, стоившее жизни двум ближайшим сотрудникам митрополита. Его временное отстранение от управления православной Церковью в краковском генерал-губернаторстве завершилось неожиданным возвращением к этому управлению с ведома и согласия генерал-губернатора Франка. Автокефалия — в территориально сокращенном объеме — была восстановлена. Продолжение борьбы с нею было бы — в обстановке войны и оккупации — бесцельным. Митрополит Дионисий протянул Русскому Комитету руку. Я ее принял.

x

Вечером 26-го июля я мог назвать начало эвакуации русских варшавян в Словакию законченным. Каждый, пожелавший ею воспользоваться, смог это сделать. В моей квартире на Вейской остались Н. С. Кунцевич и четверо служащих канцелярии. Неожиданно, к ним прибавился еще один человек.

— Вас — сказали мне — хочет увидеть оборванный старик. Он утверждает, что знает вас с детства. Зовут его Михаилом Ивановичем Зориным...

Неужели он — подумал я — тот Миша, которому я, вероятно, обязан жизнью? Но какой же он старик? Ведь, если это он, ему должно быть лет сорок-восемь, не больше... Однако, вошедший в мой кабинет посетитель действительно выглядел гораздо старше. На нем был ветхий, обтрепанный немецкий мундир со срезанными погонами, серые брюки, разлезающаяся обувь. Долго не стриженные волосы были седыми на висках. Лицо заросло щетиной. Только глаза были молоды.

— Вы меня не узнаете? — спросил он негромко.

Узнать я его не мог — помнил белобрысого, курносого паренька — но как это ему сказать? Неверно истолковав мое молчание, он прибавил:

—Помните двадцать-первый год? Я — Миша Зорин...

Нет, я не забыл его. Существуют люди и события, которые забыть нельзя. Не только упомянутый им год, но и далекое детство вошли ко мне с этим грязным, несчастным, рано состарившимся оборванцем. Прежде, чем расспросить, нужно было о нем позаботиться.

Часа через два, вымытый, побритый и переодетый М. И. Зорин рассказал, как он оказался в Варшаве и что привело его на Вейскую. Он был сыном горничной, прослужившей много лет в доме моего деда А. Т. Тимановского, издателя «Варшавского Дневника», а затем — в семье моих родителей. Братья и я почтительно называли ее Марией Григорьевной. Миша был участником наших детских игр. Он учился в школе расквартированного в Варшаве Лейб-Гвардии Литовского полка и носил его форму, которой — признаться — я

очень завидовал. В 1914 году он ушел с полком на фронт и был в Восточной Пруссии ранен в руку. После революции связь с его матерью и с ним оборвалась.

Летом 1921 года меня в захваченной большевиками Одессе нашла приехавшая из Киева дама, родственница знаменитой артистки Веры Комиссаржевской. Она привезла состоявшую из нескольких слов записку. Рукою моей матери, на клочке бумаги, были написаны фамилия и киевский адрес Марии Григорьевны. С запиской я получил знакомое кольцо. Темный сапфир и сверкающий бриллиант в платиновой оправе были бесспорным доказательством того, что приезжая мою мать повидала.

В сентябре мне удалось пробраться в Киев, но я не застал там ни матери, ни брата. Мария Григорьевна радушно приняла меня и сообщила, что ее сын дважды побывал с ними на границе и, поочередно, перевел в Польшу. 27-го сентября он сделал это — для меня — в третий раз. Трижды ему помог бывший камердинер деда, владевший на советской стороне, хутором верстах в двух от отошедшей по Рижскому договору в Польше волынской деревни Майково. Оттуда мы на следующий день попали в пограничный город Острог, а затем — в польский репатриационный лагерь в Ровно. Миша колебался, не стать ли и ему эмигрантом, но привязанность к семье победила. Он вернулся в Киев. На прощание я подарил ему материнское кольцо.

С тех пор, он прожил двадцать лет под советским гнетом. Война показалась ему освобождением, но — как и множество других русских людей — его обманула. В 1943 году начался трудный путь на Запад. Знакомую с детства Варшаву он увидел тогда, когда передовые советские части достигли Вислы. Кто-то на улице, узнав в нем беженца, посоветовал:

— Сходите в Русский Комитет... Председателем там Войцеховский...

Настала моя очередь отплатить старый долг.

x

27-го июля я проснулся в опустевшей квартире. В канцелярии молчал телефон, не стучали пишущие машинки. Не было ни души в приемной. Необыкновенно тихо было и на улице. Варшава казалась вымершей. Предостережение польского друга было, очевидно, не напрасным. Варшавяне что-то знали и к чему-то готовились. Н. С. Кунцевич и я нашли отсрочку отъезда опасной и назначили его на следующий день.

Утром я обошел комнаты, прощаясь с ними. Вещей я не жалел. Семейные иконы и часть моих книг были отосланы в Равенсбург. Остальное было бы в предстоящей трудной жизни лишним грузом. Я предвидел испытания, уготованные русским эмигрантам, оставшимся в годы военной бури непримиримыми противниками коммунизма.

Днем захотелось в последний раз взглянуть на польскую столицу. Секретарь вызвался разделить со мной прощальную прогулку. Город поразил нас жуткой тишиной, в которой шаги отзывались гулким эхо. Редкие прохожие жались к стенам, словно чего-то опасаясь. Мы дошли до площади, которую варшавяне называли, по старой памяти, Варецкой, хотя она давно была переименована в честь Наполеона. Там, у здания почтамта, всегда переливался поток пешеходов, автомобилей и извозчичьих пролеток. На этот раз, мы не увидели никого.

Дальше, на Мазовецкой улице, нас удивил зазвучавший вблизи струнный оркестр. Он раздавался из садика Филиппса — летнего кафе, названного так потому, что в доме, отделявшем его от улицы, помещалась до войны известная голландская фирма. Нам захотелось взглянуть на этот оазис в варшавской пустыне.

x

На просторной площадке, под немногими деревьями, были расставлены круглые столики. Две-три чахлые клумбы пытались оправдать название сада. За многими столами кто-то сидел. Вот и знакомое лицо — русский инженер Корольков, крупный делец, очевидно не помышляющий об отъезде...

Мы прошли вглубь, заказали мороженое. Его принесла нарядная официантка. С терасы доносился венский вальс. Трудно было поверить, что мы только что расстались с могильной тишиной.

В Варшаве меня знали многие. Нас заметили. Подошла и присела к нашему столику дама, управлявшая садом — дочь дипломата, представлявшего до революции Россию в одном из европейских королевств и легко, несмотря на придворное звание, сменившего вехи после октябрьского переворота. Ее муж — мой ровесник, варшавянин по рождению, сын однополчанина и друга моего отца — знал меня с детства. В независимой Польше он стал офицером, прикомандированным в 1920 году к французской военной миссии и сохранившим в более поздние годы светскую связь с дипломатическим корпусом и польским обществом. Его решение остаться в Варшаве меня не удивило, но мое появление в садике Филиппса поразило его жену.

— Как — воскликнула она — вы еще здесь?

Я притворился непонимающим:

— Что же в этом странного?

Вопрос ее смутил — она не могла сказать, что польское восстание может вспыхнуть ежеминутно. Может быть, я поколебал ее уверенность в его неизбежности. Беспомощно оглянувшись, она заметила молодую женщину, сидевшую в раскладном, садовом кресле:

— Да, пожалуй... Видите эту блондинку, секретаршу Фишера, немецкого губернатора... Она тоже здесь... А я-то думала, что вы давно уехали...

Шутку нужно было прекратить. Я ответил:

— Нет, не уехал, но уезжаю, а вам желаю всего доброго... Передайте Левушке мой привет... Знаю, что Варшаву вам покинуть трудно...

Мы расстались дружелюбно. Неделю спустя, она была убита бомбой, сброшенной немецким летчиком на питательный пункт польских повстанцев.

x

Из трех православных храмов, сохранившихся в Варшаве после первой мировой войны, Троицкий на Подвалье был, более других, эмигрантским и русским. Еще до разделов Речи Посполитой его основали греки, торговавшие с Польшей. От них через полтораста лет сохранилась над входом византийская икона.

Внешне храм на церковь похож не был. Он был спрятан в низком флигеле, в глубине двора, окаймленного с трех сторон тяжелыми стенами старинного дома. В начале двадцатых годов одна из квартир в этом здании была занята русским эмигрантским Красным Крестом. После высылки из Польши его председательницы Л. И. Любимовой и ее сотрудников, обвиненных в создании тайной монархической организации, но фактически ставших жертвами мирного договора Польши с большевиками, там же разместился Российский Комитет, председателем которого был В. И. Семенов. После покушения моего брата Юрия на жизнь советского торгового представителя Лизарева, в мае 1928 года, этот Комитет был закрыт польским правительством. Помещение было опечатано, но через три года предоставлено созданному с моим участием Российскому Общественному Комитету. Эмигранты, естественно, туда стекались. Церковный двор был свидетелем многих радостных и печальных встреч.

Когда эмигрантский поток прекратился и наладился казавшийся прочным русский быт в Варшаве, церковь на Подвалье сохранила прежний, преимущественно беженский облик. Не в пример более богатому собору Св. Марии Магдалины на Праге — восточном предместье Варшавы — она не испытала давления сторонников украинизации или полонизации. В день вступления германских войск в Варшаву — 1-го октября 1939 года — Н. Г. Буланов с ее клироса сообщил теснившимся в ней варшавянам, что Общественный Комитет попрежнему существует в пострадавшем от осады городе.

Настоятелем Троицкого прихода был протоиерей Александр Субботин — высокий, статный, красивый человек, умело ладивший с прихожанами и с нелюбимой ими митрополией. Он был особенно внимателен ко мне, когда я стал пред-

седателем Русского Комитета, и даже смущал меня этим во время совершаемых им богослужений.

Также высок, благообразен и заметен был второй священник, протоиерей Димитрий Сайкович. В отличие от настоятеля, он и до войны был противником митрополита Дионисия и провозглашенной им автокефалии православной Церкви в Польше. В 1939 году он приветствовал его отстранение и оказавшуюся кратковременной замену приехавшим из Берлина и принадлежавшим к русской зарубежной Церкви митрополитом Серафимом. Крушение надежды на упразднение автокефалии после ее признания краковским генерал-губернатором Франком отразилось на нем тяжело. Он отошел от привлекавшей его раньше русской общественной жизни. Здоровье пошатнулось. Смерть подстерегла. Он скончался на Волыни, вскоре после окончания войны.

Меньше этих двух священников я знал третьего — молодого протоиерея Георгия Лотоцкого. Небольшой, черноглазый и смуглый, он мог сойти за молдаванина или левантинца. До войны он был в Варшаве тюремным священником, а в годы оккупации, после возвращения митрополита Дионисия к власти, стал его ближайшим сотрудником в сношениях с немецкими учреждениями. Меня поэтому удивило, что на обращенную к Троицкому приходу просьбу отслужить в моей квартире на Вейской напутственный молебен отозвался именно он.

x

Известие о моем предстоящем отъезде распространилось, очевидно, по городу, так как к полудню, 28-го июля, в мою канцелярию начали стекаться те, кто хотел со мной проститься. В числе многих, пришла В. Н. Блументаль, подруга моей матери, почитаемый русскими варшавянами педагог. Пришел Л. — поляк, женатый на русской. До захвата власти в Польше маршалом Пилсудским он занимал видное положение в одном из министерств и избавил многих русских землевладельцев от направляемого против них, злостного истолкования земельной реформы. Растрогал меня другой поляк —

портной, исполнивший в прошлом немало моих заказов. Прощаясь, он протянул мне 50 германских марок и сказал:

— Вам деньги будут теперь нужней, чем мне... Возьмите их, пожалуйста...

Протоиерей Лотоцкий предвидел то, что мне предстояло после войны. Он включил в молебен особое прошение об избавлении от человеческой клеветы. Впрочем, он предсказал и свою судьбу.

— Почему вы, о. Георгий — спросил я, приложившись ко кресту — остаетесь в Варшаве?

— Я знаю — ответил он тихо — что остаюсь на смерть, но решение не изменю.

Недели через три, он, его жена и дети погибли под развалинами дома на Медовой улице. От Троицкой церкви, после подавления восстания, не осталось камня на камне.

x

Женщина, помогавшая моей жене в хозяйстве, была вдовой поляка. Она не захотела расстаться с Варшавой, но не бросила работы до конца. После молебна я попросил ее накормить меня и моих спутников.

— Сергей Львович — всплеснула она руками — дома нет ничего, разве только гречневая каша...

— Что же, дайте кашу...

Она подала ее на фарфоре, в большой столовой. За овальным столом нас было семеро уезжавших и двое пожелавших нас проводить служащих Комитета — М. И. Пантикова и милый юноша, которого назвать не могу, так как его судьба мне не известна. Непреодолимые причины заставили их отказаться от отъезда. Тем трогательнее было их присутствие — свое отношение ко мне и к Комитету они, в трудную минуту, засвидетельствовали без забрала.

В буфете я нашел одну, забытую бутылку шампанского. Разлив вино в стаканы, я поднял свой:

— За Россию, господа...

x

На вокзал мы дошли пешком. В последний раз я взглянул на город, где был ребенком, куда вернулся эмигрантом. Я знал, что прощаюсь с ним навсегда. Со мной был вещевой мешок — единственное достояние — и в нем трехцветный флаг, некогда сшитый и освященный по почину В. И. Семенова для Российского Комитета в Польше и еще недавно стоявший на древке под иконами в зале особняка на Аллее Роз — тот флаг, которому я, в меру сил и разумения, служил в Варшаве. От этой службы я был освобожден эвакуацией русских варшавян. Прежняя жизнь оборвалась. Предстояла новая, полная тревоги и опасности. Скорый поезд в Берлин был ее началом.

СТАТЬЯ

Когда я 21-го января 1941 года, в разговоре с немецким «журналистом» Козловским сослался на мою статью в «Часовом», я хотел обратить его внимание на высказанную в ней надежду на изменение отношения национал-социалистической Германии к русскому народу. Статья была напечатана «Часовым» в № 194 от 5-го августа 1937 года, когда трудно было предвидеть безумие Гитлера и его бесчеловечную жестокость.

В день разговора с Козловским я уже был свидетелем самоубийственного поведения национал-социалистов в Польше, но не мог себе представить, что они повторят его в России и обрекут этим Германию на неизбежное поражение.

Так или иначе, статья отражает тщетную попытку привлечь немецкое внимание к русскому предостережению.

х

Новая Германия и русский вопрос

В числе вопросов, привлекающих ныне внимание русской национальной мысли, исключительное место занято вопросом об отношении новой Германии, созданной Адольфом Гитлером, к нашему отечеству. Нет русского, который не понимал бы, как велико значение доброжелательных взаимоотношений Германии и России для развития и благополучия обоих государств, но, вместе с тем, нет русского, который бы не видел, как на небосклоне этих отношений собираются тучи, сулящие в будущем возможность осложнений между двумя великими народами.

Отношение русских националистов к новой Германии двойственно: глубокое уважение к человеку, который силой своей могучей воли вернул германскому народу его прежнюю мощь и от имени Германии поднял над миром знамя непримиримой борьбы с коммунизмом, сочетается с опасением, что эта мощь может быть направлена не только против коммунизма, но и против национальных интересов России.

Первоисточником этих опасений является книга А. Гитлера «Мейн Кампф». Эта книга содержит, преимущественно в 14-ой главе, такие мысли, которым ни один русский сочувствовать не может, ибо если мы понимаем, что новая Германия нуждается во внешне-политических достижениях, то не допускаем мысли о том, что эти достижения возможны «в первую очередь за счет России». Та программа внешней политики Германии, которая выражена в книге А. Гитлера, для нас, русских националистов, неприемлема.

Отсюда вытекает вопрос, имеем ли мы право придавать столь большое значение мыслям, высказанным в те годы, когда автор «Мейн Кампф» не был еще вождем и канцлером новой Германии, а всего лишь руководителем молодого германского национал-социалистического движения. Такое сомнение тем более естественно, что существуют основания предполагать, что вождь и канцлер третьего Рейха не разделяет ныне полностью тех мыслей, которые он высказал столько лет тому назад. В заявлении, сделанном в феврале 1936 года французскому журналисту Бертрану де Жувенель, А. Гитлер, коснувшись содержания своей книги, сказал:

— Вы хотите, чтобы я внес поправки в мою книгу, как писатель, который выпускает новое издание своего труда, но я не писатель, а политик. Мои поправки я вношу в моей внешней политике.

Выступая 7-го марта 1936 года в Рейхстаге, А. Гитлер сделал заявление, заслуживающее особого внимания.

— Если сейчас — сказал он — мои международные противники обвиняют меня в том, что я отклоняю сотрудничество с Россией, то я в ответ на это должен заявить следую-

щее: я отклонял и отклоняю сотрудничество не с Россией, но со стремящимся к мировому господству большевизмом.

Русским националистам прекрасно известны эти заявления вождя германского народа и во втором из этих заявлений они хотели бы видеть признание готовности новой Германии к сотрудничеству с Россией, буде она освободится от коммунистического ига, но то же заявление А. Гитлера толкуется его противниками, как доказательство его стремления оправдать наличием большевизма посягательство Германии на национальные интересы России, и до тех пор, пока в этот вопрос не будет внесена полная ясность, русские опасения будут вполне понятны и обоснованы.

Книга А. Гитлера наносит ущерб будущим отношениям между Россией и Германией еще и потому, что ряду поколений германского народа она прививает мысль о необходимости искать в России удовлетворения потребности Германии в расширении ее пределов. Никакие «поправки», сделанные в речах и в заявлениях вождя германского народа, не в состоянии уравновесить то влияние, которое оказывают в этом отношении миллионы распространяемых в Германии экземпляров «Мейн Кампф».

Вполне понятно, что вождь и канцлер новой Германии не может изменить то, что было им написано в 1924 году, но так же вполне естественно, что из-под его пера могли бы выйти по истечении стольких лет новые мысли, которые определили бы отношение возглавляемого им великого государства к России и к русскому народу так, как это отношение должно быть ныне определено. Такое дополнение к «Мейн Кампф» тем более необходимо, что изложенная в этой книге программа германской политики по отношению к России не только неприемлема для всех русских, к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали — главным недостатком этой программы в 1937 году является ее полная неосуществимость.

x

На одну из причин этой неосуществимости мы указали в статье, опубликованной в № 185 «Часового», от 20-го февраля с. г. «В данное время — написали мы — следует ждать не перемены в направлении внешней политики Польши, а укрепления той основной линии, которая сводится к политике равновесия между Германией и СССР, к политике нейтралитета в том великом споре между фашизмом и коммунизмом, который ныне потрясает мир».

Восточная программа Германии, изложенная в «Мейн Кампф», стала бы, быть может, осуществимой, если бы Берлину удалось убедить Варшаву и Бухарест в том, что такое осуществление выгодно Румынии и Польше. Однако, в настоящее время обстановка складывается так, что на помощь главных западных соседей России Германия ни в коем случае рассчитывать не может. Неблагоприятные для Германии сдвиги произошли в течение последних месяцев на Скандинавском полуострове. Кроме этих причин, существуют другие, не менее значительные, которых мы сознательно не касаемся, дабы не утомить наших читателей подробностями. Главной причиной, препятствующей Германии воплотить в жизнь программу А. Гитлера по отношению к России в ее первоначальном виде, является то обстоятельство, что эта программа наталкивается на единодушный отпор русского народа, а мысль о возможности завоевания России или ее расчленения, надо надеяться, ныне оставлена всюду, где она когда-либо возникала.

x

Что же из сказанного следует? Какова та программа восточной политики новой Германии, при которой она могла бы рассчитывать не только на сочувствие, но и на поддержку русского народа?

Как мы уже отметили, русский народ проникнут глубоким уважением и, скажем прямо, симпатией к вождю новой Германии за то, что свое государство он превратил в твердыню борьбы с коммунизмом, но в этой твердыне А. Гитлер ведет по отношению к коммунизму не наступательную, а обо-

ронительную политику. Между тем коминтерн, растерявшийся после неожиданной для него победы национал-социализма в Германии, успешно перестроил свою тактику и возглавляет всестороннее наступление самых разнообразных сил на национал-социалистическую Германию. Творение А. Гитлера находится под постоянной угрозой удара. Предотвратить эту угрозу может только уничтожение коминтерна в России. Это и есть та цель, в которой интересы Германии совпадают с интересами русского Национального Движения. Согласование усилий при наличии общей цели не представило бы большого труда.

Не уничтожение России, а ее освобождение от коммунизма должно стать целью германской внешней политики, ибо, как написал д-р Макс-Эрвин фон Шейбнер-Рихтер, один из тех павших 9-го ноября 1923 года первых германских национал-социалистов, которым посвящена книга А. Гитлера: «Невозможно без опасности для собственного благополучия признавать в России тот строй, который совершенно неприемлем для собственной страны».

Борьба с коминтерном мыслима и возможна без посягательства на национальное достояние России. От того, насколько это будет понято в Берлине, зависят на долгие годы взаимоотношения между германским и русским народами.

ТРИ ПИСЬМА

Владимир Владимирович Деменитру был по происхождению французом, настолько обрусевшим, что французского языка не знал. Родился он в России и был до революции присяжным поверенным в Одессе. Став эмигрантом, он с женой, Ольгой Адольфовной, обосновался в Данциге, превращенном Версальским договором в независимый от Германии вольный город. Там он редактировал «Вестник» русской колонии, состоявшей — в значительной части из состоятельных евреев, экспортировавших польский лес в Англию и другие страны.

Осенью 1939 года, после воссоединения Данцига с национал-социалистической Германией, он воспользовался первой возможностью переезда в Варшаву, где Русский Комитет помог ему и жене легализировать их пребывание. В июле 1944 они были эвакуированы Комитетом в Словакию. Об этой эвакуации он написал мне три письма. Даты первых двух им указаны не были. Третье помечено 23-м сентября того же года.

1.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Львович!

Созидателю всегда радостно любоваться делом рук своих. Поэтому хочу порадовать Вас кратким описанием нашего пути из Варшавы в Словакию, Вами для нас уготованного и облегченного. Нет у меня сейчас ни приличной бумаги, ни подходящего пера, а Вы знаете, какое действие на пишущего оказывают плохие письменные принадлежности. Поэтому извините великодушно недостатки писания и изложения. Мне очень хочется обрадовать Вас сведениями о совершенном ус-

пехе проведенного Вами дела и я не хочу откладывать это письмо до момента, когда смогу купить нужное перо и бумагу. Примите это письмо не только как желание выразить Вам мою благодарность за все для меня сделанное, но и как дань полного восхищения Вашим организаторским талантом и Вашей энергией, совершившими чудо беженской эвакуации. Как не назвать подлинным чудом этот вывоз тысячи русских людей из окруженной врагами и пламенеющей польской ненавистью Варшавы — в классных вагонах специального поезда прямого назначения с продовольствием в пути, непрерывным попечением о едущих в дороге, с последующим помещением их в отелях первоклассного горного курорта на полном иждивении словацкого правительства! И все это во время войны, в непосредственной близости фронта и в наше бесцеремонное время, когда не принято считаться даже с подданными великих держав, а не то что с бесподанными, отовсюду гонимыми и повсюду беззащитными русскими эмигрантами! Чудо, Сергей Львович, и Вы можете быть горды способностью сотворить чудесное дело истинного добра среди зла и злости, в которых захлебывается мир, но и мы горды. Мы гордимся тем, что среди нас находятся такие, как Вы, люди, показывающие редкостные примеры рвения, энергии, умения и беззаветного служения русскому делу.

Итак, в понедельник мы в Вашем присутствии по группам погрузились в вагоны. Рядом стояли три открытые платформы, на которые погрузились покидавшие Варшаву армяне. После беспокойной ночи, ознаменовавшейся налетом красных на варшавский восточный вокзал, мы тронулись в путь во вторник около 12-ти часов дня. Многие вздохнули свободнее, когда поезд миновал варшавский западный вокзал. Поводов для облегченного вздоха было достаточно. Во-первых, на станции товарной мы провели беспокойную ночь в непосредственном соседстве с вагонами, загруженными снарядами; во-вторых, обнаружена была попытка вложить бомбу в паровоз нашего поезда, а, в-третьих, поведение поляков у поезда в Варшаве не внушало доверия к дружелюбию их замыслов в отношении нас, но, слава Богу, мы поехали!

К вечеру были за Жирардовом, ночью проехали Ченстохов, утром — Катовицы. В тот же день, в среду, около 5-ти часов дня, на предгорьях Карпат миновали границу Германии, где нас высадили из вагонов и проверили по групповым спискам — таможенного досмотра не было — а затем, в 6 часов, снова проверили и приняли по спискам уже на границе Словакии.

Отсюда начался крутой подъем в гору не только нашего поезда, но и наших русских чувств: по всему пути наш поезд окрестное крестьянство встречало с истинным воодушевлением. Очевидно, о нашем прибытии в Словакию знали уже в приграничных деревнях. Крестьяне приносили в дар молоко, ягоды, всячески выражая симпатию и сочувствие.

Дорога шла все выше и выше среди совсем тирольских пейзажей и наконец, к позднему вечеру, как раньше бывало с настоящими особами, наш эмигрантский поезд «плавно подкатил к дебаркадеру» города Жилина, а на пероне собрались какие-то депутации, встречавшие митрополита и владык, а также представители городского управления и проч. Многие у нас приготовили к этому случаю нужные физиономии, рассчитывая с достоинством выслушать слова прочувственных речей и ответить на них со скромной сдержанностью хотя и страдающих, но все же старших и почитаемых братьев. Предполагалось также, что на приеме этом прорвутся славянские симпатии, которые, кто знает, может быть оросятся и несдержанными слезами. Все это не случилось!

Если мы встретимся, Сергей Львович, то поговорим о диапазоне и тональности мотивов о славянских симпатиях. Эта тема, по нынешнему времени, очень сложная и не для письма. Несомненно, братское чувство существует, но оживляет его и двигает им весьма сложный конгломерат чувствований. Во всяком случае сложности этих чувствований и простоте нашей души не дано было сказаться, так как одновременно с нашим прибытием раздался сигнал воздушной тревоги, огни были потушены и жилинские власти весьма заботливо увели наш поезд в поле, подальше от греха. Когда же, по миновании опасности, вагоны снова «плавно подкатили к дебарка-

деру», то депутаций уже не было, не было и речей. Полиция нас снова зарегистрировала, а администрация радушно потчивала печеньем, лимонадом, молоком и проч. Взаимные симпатии славян к славянам остались невысказанными. Впрочем, молчание, ведь, сущее золото!

В Жилине среди ночи — была половина третьего — нам пришлось выслушать известие, которое многих чрезвычайно взволновало. Оказалось, вопреки ожиданиям, что нас тем же поездом отправляют далее, в Татры, в курорт Ломницу, за 125 километров к востоку от Жилина, то есть в непосредственную близость к фронту, который в тот момент приближался к Бескидам. Начались объяснения с полицией, в которых и я принял участие. Полицейский инспектор стал заверять нас, что, в случае опасности, нас вывезут из Ломницы на Юго-Запад. При этом нам разъяснили, что везут нас в лучший на Карпатах курорт, где мы будем хорошо приняты и размещены и что никаких опасений быть у нас не должно. Спорить было напрасно и мы тем же поездом к раннему утру отправились дальше.

Утром приехали в горный городишко Попрат. Тут встретил я русскую даму, давно уже живущую в Попрате, здесь же вышедшую замуж и здесь же овдовевшую и получившую по наследству от мужа небольшой домик. Она настойчиво уговаривала всех нас не спорить с судьбою, которая привела нас в Словакию. По ее словам, здесь все обильем дышит, о продовольственных карточках еще не знают — карточки только на сахар и обувь, работу достать не трудно, а население относится к русским благоприятно. Все это впоследствии оказалось приблизительно верным, но первые встречи на пероне попратского вокзала с представителями местного населения не могли не смутить. Тут пришлось — в который-то раз — объяснять почему мы бежим из отечества, в каком отношении не сходимся с нашими русскими соотечественниками по ту сторону границы и каким это образом не можем поладить с русскими, частью которых являемся. Наши объяснения, очевидно, не убеждают и, во всяком случае, не могут рассеять сложившиеся в душах представления. Они не совпадают с

чаяниями, они разочаровывают и не удовлетворяют. Словом, атмосфера не та, в которой расцветают души!

Из Попрата поехали дальше, но уже в маленьких поездах пригородного сообщения. Большой наш поезд разделили на две части. Одна часть его с духовенством была погружена в вагоны трамвая, отправившиеся на восток; другая отправилась в таком же трамвае на запад. Обе группы должны быть размещены в горных курортах, примерно, в десяти километрах одна от другой.

Наша группа вместе с представителями Русского Комитета, то есть с А. В. Полянским, К. К. Яворским и А. Ф. Безобразовой, поехала на курорт Татра-Ломницы, где снова была разбита на три небольшие группы, размещенные в различных отелях в горах. Природа — швейцарской живописности. Со всех сторон горы, вершины и шпицы с остатками снега на склонах, густые леса, отовсюду журчат ручейки, бродят со звонками на шее почти альпийские коровы, на высоте почти в тысячу метров порхают бабочки, а за горами явственно ухают пушки. Первое время это некоторых нервировало, но теперь, в связи с успехами немецкого оружия на Бескидах, стрельбы не слышно, наши опять успокоились и занялись очередными делами. Оставшийся с нами о. Мстислав уже отслужил молебен, организовался и поет церковный хор. Архимандрит скорбит об отсутствии потира и красного вина и собирается служить литургию. Настолько уже обжились, что г. Хренников собирает силы для организации русского концерта и эта тема дебатируется. Много тревог и хлопот с привезенными деньгами — злотыми и марками. И здесь и в Братиславе, куда наши уже успели съездить, злотые и марки отказываются разменять и все наши таким образом сидят без денег, но не унывают, ибо голь на выдумки хитра. Покачто продают ненужные вещи.

В словацких газетах и в немецкой, издающейся в Братиславе, наш приезд сюда является темой дня. По газетному обычаю, все основательно переврано. Так, например, в одной газете я прочел, что из Польши прибыло 800 священников и боюсь, что к нам на шоссе будут подходить под благосло-

вение. В другой — нечто путанное: мы являемся лишь арьергардом или авангардом, а сюда движется волна в 65 тысяч беженцев. Местное население встревожено. Где, в самом деле, разместить и как накормить такую уйму голодного и нищего народа?

Позавчера по этому поводу в словацкой газете помещена большая и явно инспирированная статья, в которой объясняется, что беженцы лишь проходят через Словакию и что лишь небольшая их часть здесь осядет. Те же, что осядут, будут для Словакии полезны, т. к. многие из них немедленно приступят к работе, как нужные здесь врачи, инженеры и специалисты-рабочие. Ввиду этого, а не только по чувству христианского и человеческого долга, населению предлагается оказывать беженцам гостеприимство. Впрочем, предписывается не вступать с ними в общение до минования карантинного срока и до выдачи беженцам распознавательных карточек.

В конце прошлой недели приехали сюда представители министерства внутренних дел по отделу учета беженцев, собрали нас всех и, проверяя документы, приступили к составлению анкет. Одновременно ими же выдавались распознавательные карточки и теперь таковые у нас всех имеются. Карточки дают право на прописку и передвижение в пределах Словакии. При составлении анкет отмечалось желает ли беженец работать и где — здесь, в Словакии, в Германии или же в Австрии. Большинство склонно остаться здесь, чему не мало способствуют утешительные известия с фронта.

Мне пришлось беседовать с инженером, окончившим в Праге, уже давно осевшим в Словакии и занимающим здесь хорошее место. Он объясняет, что во многих городах Словакии работает большое число русских инженеров и врачей, многие из них хорошо устроены, спрос на таких специалистов существует и, разумеется, все инженеры и врачи будут немедленно устроены, равно как и рабочие-специалисты. Хуже обстоит дело с применением труда не специалистов и с применением женского труда. Словацкая власть обещает, что всех тех, кто не получит занятия, поместят в лагере в южной

Словакии, где они будут находиться на попечении правительства.

Разместили нас здесь очень хорошо. Семейные имеют по отдельной комнате. Природа — почти райская. Кормят три раза в день сытно. Ежедневно — мясо. Прожиточный минимум равен тысяче крон, причем крону нужно считать равной двум злотым. Заработная плата рабочего равна 60-ти кронам в день и выше. Таким образом условия жизни здесь можно считать вполне благоприятными, а в отношении продовольствия Словакия, повидимому, в прекрасном положении. Кто-то у нас сострил, что, если вся Европа ныне подобна курьерскому поезду, мчащемуся в неизвестность, то Словакия в этом поезде — вагон-ресторан.

Вы, глубокоуважаемый Сергей Львович, можете быть в полноте удовлетворены и горды результатами Ваших хлопот по вывозу русских из Варшавы. Вы не только спасли от большевиков и от польских ножей тысячу русских жизней, но и предоставили спасенным Вами людям возможность отдохнуть, оправиться от пережитого и приступить к труду в наиболее благоприятствующих условиях.

Я заставлял г. Шкляревича, у которого есть фотографический аппарат, снять наш поезд и беженские группы около вагонов, но он это не удосужился сделать. Теперь я приймусь за него, заставлю снять нас на курортном отдыхе и послать Вам эти снимки.

Вы обещали побывать у нас и все, несомненно, были бы очень рады повидать Вас и лично поблагодарить за все сделанное. В особенности я и жена хотели бы выразить Вам постоянную признательность за Ваше неизменно благожелательное отношение и помощь, которую Вы всегда оказывали.

Где Вы и что с Вами здесь пока не известно, но я надеюсь, что Вы счастливо покинули Варшаву и отдохнули от пережитых трудов и волнений. Я уже с нетерпением жду какого-либо труда, так как проработал всю жизнь и отдых начинает меня тяготить при моем деятельном характере и избытке сил. Жду, что словацкий арбейтсамт о нас позаботится, но мечтаю о том, чтобы остаток моих сил и способностей

был бы отдан на служение русскому делу. У меня мелькает мысль проситься во Францию, чтобы любым образом поработать для Р.О.А.

С позволения Вашего, я еще напишу Вам, если будет о чем писать, а пока крепко жму Вашу руку и прошу передать глубокоуважаемой Зое Васильевне и всей Вашей семье мои самые сердечные пожелания.

С полным уважением

В. Деменитру.

2.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Львович!

Я продолжаю хронику нашего беспримерного эвакуационного путешествия не только потому, что хочу порадовать Вас зрелищем достигнутого Вами успеха, но потому, что мне и самому приятно быть свидетелем торжества русского умения и энергии. Живем здесь в Татранской Ломнице и до сих пор не можем опомниться от изумления. На двадцать четвертом году наших скитаний по миру нас — обнищавших, всем наскучивших, беззащитных — не только снова спасают от когтистых лап наших врагов, но везут в лучших условиях на превосходный курорт; размещают в горных отелях; предоставляют нам беззаботный летний отдых; отлично кормят и поят; хлопочут о нашем дальнейшем жизненном устройстве. Но идут еще большие чудеса! О них — немного дальше.

В предшествующем письме я кратко описал Вам нашу дорогу, а теперь хочу написать Вам о том, как мы здесь живем. Разместили нас в нескольких пунктах, отстоящих друг от друга на несколько километров. Я наблюдаю, главным образом, жизнь той группы, которая, вместе с представителями Русского Комитета, разместилась в числе приблизительно 170-ти человек в Ломницах, и часть другой группы — 23 человека — находящейся на расстоянии двух километров от Ломницы в Матлиарах. Тут живем и мы с женой.

Власти поместили нас по 5-10 человек в отдельных виллах, где одинокие живут по несколько в комнате, а семейные

— в отдельных комнатушках. Дали постели и постельное белье. На многих виллах, где больше прислуги, комнаты ежедневно убираются.

В 8 часов утра — чай или кофе. К нему — хлеб, иногда с маслом, иногда с мармеладом. В 12 часов — обед: суп, по большей части с макаронами или вермишелью, достаточно сытный, а затем — второе блюдо, обязательно мясное. Все это в количествах вполне удовлетворяющих при условиях постоянных прогулок на свежем воздухе. Вечером — иногда каша, иногда картофель с кислым молоком, а часто и снова мясное. На продовольствие нареканий нет, а ведь среди нас есть много людей, которые знали лучшие дни и избалованы столом.

Я писал Вам уже о том, что есть еще одна группа в Гребенке, где находятся и наши владыки. Это — группа многочисленная. Там находятся около 300 человек, в большей части подсоветских. Все они размещены в таких же, как и мы условиях, но об их жизни там я, да и все наши, знают мало. Впрочем, сведения о бытовой стороне их жизни не вполне утешительные, чтобы не сказать — огорчительные.

Что касается наших, то они, как народ с общественными навыками, в первые же дни обнаружили намерение заниматься делами общественными. Застрельщиком явился, повидимому, энергичный г. Хренников, о котором, впрочем, русские варшавяне, как об общественном деятеле, ничего точного не сообщают. По его ли инициативе или же при его участии на каком-то собрании, созванном столь скоропалительно, что о нем многие узнали лишь после того, как оно состоялось, решено было послать четверых делегатов в Братиславу, где делегаты эти должны были подыскать работу для их делегировавших. Я на этом собрании не присутствовал. Передаю лишь то, что удалось услышать стороною, и не настаиваю на том, чтобы передаваемое в какой-либо степени соответствовало действительности.

Передавали же, что вся акция была предпринята от лица Воинского Союза, который, очевидно, воскрес на словацкой территории. При записи в число желающих ехать на работу

в Братиславу предлагалось записаться в число членов этого Союза. Так как, однако, число желающих ехать на работы при таком отборе оказывалось незначительным, то впоследствии разрешено записываться и лицам, не состоящим членами Общевоинского Союза, то есть членам Русского Комитета и даже новым беженцам. При этом для фильтрирования таковых предполагалось создать тройку из представителей Воинского Союза.

Я помню, что за нашим общим столом в Матлиарах первые известия о формировании группы рабочих Воинским Союзом вызвали большое возбуждение. При этом высказывались подозрения, что все это предприятие является делом рук предприимчивых дельцов, выступающих в качестве поставщиков рабочей силы и стремящихся обеспечить себе выгодные позиции будущих надсмотрщиков или погонщиков рабочего быдла. Другие, то-есть беженцы, подсоветские люди, энергично запротестовали против намерения отделить их от прочих русских и поставить их под контроль какой-то тройки с розыскными полномочиями самодельного Г.П.У.

Страсти разгорелись и я счел нужным вмешаться, чтобы высказать мою точку зрения, которая сводилась к тому, что нам должно воспрепятствовать возникновению или воскрешению из небытия всякого рода организаций или объединений, стремящихся нас расчленить или разбить по каким-либо признакам, а в особенности по признакам советского или эмигрантского прошлого. Такого рода деление способно только породить между нами всяческие распри и создать конфликты, которых нужно избегать хотя бы потому, что мы нынче в гостях и всегда на людях. Кроме того, разделение нас на группы означает игнорирование нами принципа вождения, на котором построена организация Русского Комитета, нарушает планы его деятельности, подрывает его достоинство, а, значит, уменьшает и наш удельный вес.

Я считал необходимым настаивать на оказании Русскому Комитету всяческой поддержки в его деятельности, просил поддержать его представителей в Ломницах — мы даже произвели между собой маленький сбор на канцелярские нужды

— и на ближайшем собрании в Ломницах обратился к А. В. Полянскому с вопросом находит ли он для себя возможным продолжать здесь по опеке над нами деятельность в качестве представителя Русского Комитета, на что получил утвердительный ответ.

Между тем делегаты отправились в Братиславу, по дороге позаимствовавшись в городе Попрате деньгами. Как передают, 500 крон было взято у попратского уездного начальника и еще у кого-то 900 крон. Остается невыясненным брали ли делегаты эти деньги на свое имя, на имя ли группы желающих ехать на работы или же на имя требующих поддержки и привезенных сюда русских людей. Может стать вопрос о возврате этих сумм или же о дальнейшем для нас кредите и поэтому история этого займа потребует выяснения.

Вернувшиеся делегаты привезли радостные известия: братиславские власти согласны принять на работы 200 человек, отведут помещения и обеспечивают продовольствием. Торжество всех заранее записавшихся и конфузливое состояние небольшой группы — 60 человек — не пожелавших присоединить свои подписи. Большая группа в Гребенке, кажется, вообще осталась в стороне от деятелей бывш. Воинского Союза.

Пока делегаты делились радостными сообщениями и принимали благодарность за почин, пришли известия из Братиславы. Тогда стали утверждать, что словацкое министерство предлагает работу лишь сорока землекопам и что помещений, продовольствия и даже проезда не предоставляет. Радость была омрачена!

Между тем из источника весьма низкого — от повара нашего прекрасного отеля в Матлиарах — получил я сногсшибательное известие, что на утро ему заказан в отеле большой завтрак на 25 персон. Завтрак заказан прибывающим сюда из Братиславы немецким посланником, который пригласит к столу 25 русских беженцев. Наскоро собрали делегатов для приветствия посланника, а на утро мы действительно имели возможность пожать его руку, выслушать его речь, а мне даже довелось завтракать — вместе с А. В. Полянским, К. К. Яворским и А. Ф. Безобразовой — за его столом.

Многое мне, Сергей Львович, пришлось видеть в жизни, похожее на сновидение, и много невероятного снилось во снах, но сна о завтраке унылых русских эмигрантов за столом посланника великого государства никогда не снилось. Завтрак был хорош, был даже какой-то местный лабардан, но я был в полноте поглощен мыслью о причине столь сверхестественного немецкого благоволения к нам, не заметил еды и до сих пор не могу найти какое-либо удовлетворительное объяснение этому визиту высокой особы с четырьмя сопровождающими атташэ и секретарями и этому завтраку с нами, бесправными оборванцами. Черт знает какие мысли полезли в голову: уж не признано ли русское национальное правительство; уж не заключен ли наступательный союз; уж не назначены ли Вы премьером и не чествуют ли нас, как Ваших выкормленцев? Из приличия осведомился я у посланника о его поездке — она длилась всю ночь и это все, чтобы нас повидать.

На его вопросы отвечали мы, как нам ехалось, как мы устроены и как нам живется в качестве «гостей германского правительства». Естественно, что не хватало слов — в особенности, немецких — для выражения нашей благодарности и тут же посланник обещал нам снестись с Вами, нашим предстателем и руководителем.

Таковы вкратце те обстоятельства, при которых мы все, по получении Вашей открытки, ждем Ваше посещение, чтобы поблагодарить Вас за все, для нас сделанное и во всем последующем руководиться Вашими столь плодотворными указаниями.

При отъезде, после завтрака, беседа за которым, приличия ради, не могла касаться деловых тем и проходила, по преимуществу, в салонном стиле — право, мы не ударили лицом в грязь — посланник заявил, что на наши мелкие нужды он выдаст группе в Ломницах 10 тысяч крон. Эти деньги еще не поступили.

Таким образом Вы видите, что уже есть немало вопросов, ждущих Вашего решения на месте и было бы весьма приятно,

если бы Вы нашли время и возможность повидаться здесь с Вашими представителями и со всеми нами.

Я боюсь, что у Вас не будет охоты разбирать мои крючкотворные записи, но храню их на всякий случай, чтобы Вы воспользовались ими помимо официального доклада, как впечатлениями и мыслями одного из участников русского исхода из Варшавы. Я рад, что Вы и вся Ваша семья выбрались, наконец, из этого беспокойного города и сможете хотя бы до некоторой степени отдохнуть от переживаний последних лет.

От сердца жму Вашу руку. Искренно уважающий Вас

В. Деменитру.

3.

23-го сентября 1944 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Львович!

Я закончил свое второе письмо к Вам в Матлиарах приблизительно в двадцатых числах августа с. г. и надеялся вручить Вам эти оба письма, так как от Вас А. В. Полянским была получена открытка от 7-го августа, где Вы написали, что намереваетесь приехать в Словакию, быть в Жилине и, возможно, повидаться с нами. Однако, обстоятельства сложились иначе, так что не только о встрече с Вами, но и о пере, бумаге, столе не приходилось мечтать. Я уже почти месяц не видел газет, не читал книг и стал забывать азбуку. Судьба распорядилась нами таким образом:

Пока мы были в Ломницах и в Матлиарах и проектировали наше будущее в Словакии, по русскому обыкновению спорили, где лучше в этой стране разместиться, то есть в Братиславе, в Жилине, в Пещанах и т. д., а затем, наспорившись, засыпали и спали крепким сном, будущее наше и, притом, недалекое строилось подле нас. По ночам в темном тогда небе носились какие-то аэропланы, кружили над нашими головами и, очевидно, производили какую-то работу.

Значение этой работы обнаружилось уже в двадцатых числах августа, когда оказалось, что партизаны перерезали путь из Ломницы на горную станцию Попрад и таким образом прекратили сообщение с Жилином и Братиславой. Серьезного значения этому мы не придали, хотя некоторые беспокойные беженцы убеждали в необходимости сделать попытку добраться до Братиславы по срединной линии железной дороги, перерезывающей Словакию вдоль.

Три-четыре дня из Братиславы не приходили газеты, но мы утешали себя мыслями о временных партизанских выступлениях, тем более, что ежедневно поступали успокоительные заверения. Совершенно успокоились мы лишь 25-го августа после оглашения обращения к стране президента, д-ра Тиссы, уведомившего о том, что германские войска войдут в Словакию с целью умиротворения страны.

Два дня где-то вдали погромыхивали выстрелы, затем стали стихать и, наконец, по шоссе поехали первые немецкие отряды. Расположенные в казармах подле нас словацкие солдаты держались прилично, мобилизация словацких сил происходила также в полном порядке и мы в полном спокойствии продолжали ждать дальнейшего успокоения страны и возможности уехать на юг, подальше от партизанов и ближайшей линии советского фронта. Наши собирали по горам малину, продавали ее по ресторанам и копили деньги на дорогу.

27-го августа, после обеда, приблизительно в два часа дня, ко мне пришел швейцар нашего отеля в Матлиарах и в коротких словах передал только-что полученное им от словацкой жандармерии в Ломине — в двух километрах от Матлиар — телефонное распоряжение для всех русских, проживающих в Ломнице и в Матлиарах, в течение часа, со всеми вещами, покинуть их местопребывание и следовать по шоссе в Татржанские Котлины — дачный поселок в 8-ми километрах от Котлин и, следовательно, в 20-ти километрах от Ломницы. Я немедленно отправился к телефону, вызвал жандармерию и выслушал подтверждение строгого приказа. На мое возражение о невозможности найти в Матлиарах повозку для

перевозки багажа, женщин и детей последовал ответ, что в распоряжении жандармерии в Ломнице повозок нет и что мы должны уходить пешком и с возможной скоростью, так как театр военных действий переносится в Ломницу и в Матлиары.

Бросившись к директору отеля, мы с трудом вымолили пароконную повозку до Котлин, на которую в беспорядке свалили наш багаж и немедленно двинулись по шоссе. К этому времени по нему же стали двигаться одинокие фигуры выгнанных из Ломницы беженцев. Брели русские семидесятилетние старушки и старички, волоча на себе пудовые чемоданы и тюки, последнее достояние и последние жизненные ресурсы. Оказывается, что словацкая жандармерия в Ломницах потребовала немедленного оставления жилищ в еще более резкой форме, чем сделала это в Матлиарах. В Ломнице жандармы заявили, что русские, которые задержатся с исполнением приказа, будут расстреляны на месте. Этого энергичного внушения, естественно, оказалось достаточно, чтобы все тронулись в путь. Тяжелое было зрелище! Старики, взвалившие на себя пудовую ношу беженского скарба, едва держались на ногах, когда дошли до Матлиар, а впереди оставались еще 8 километров до Котлины. Русские старушки брели, опираясь на страннические посошки. Держась за руки старших, шли малые дети. Архимандрит Мстислав в буквальном смысле слова рыдал у дороги, не будучи в силах нести свой чемодан, в котором были сложены дорогие ему вещи, иконы и проч. Загруженная нашим багажем хилая повозка, раздобытая в Матлиарах, была вновь завалена вещами подходящих из Ломницы беженцев, кренилась из стороны в сторону. Не связанные бичевкою вещи падали на дорогу, а оси скрипели и внушали тревогу, что лопнут от непомерной нагрузки. Печальный кортеж наш растянулся на несколько километров. Дамы наши с плачем тащили свои тюки и свертки на высокий подъем. Старики ежеминутно присаживались у обочин, чтобы перевести дыхание, и, глядя на этих ветхих деньми людей, не верилось, чтобы они могли выдержать испытание этого тяжелого пути.

По дороге выяснилось из разговоров, что словацкая жандармерия при выдворении русских не ограничилась одними

словесными угрозами расстрела, но проявила обычно ей не свойственную энергию, обошла все виллы, где русские проживали, понукала замешкавшихся и, застав в одной комнате больную русскую старушку, лежавшую в постели, потребовала и от нее взять одр свой и ходить. На возражение, что она больна, жандармы заявили, что это их не касается и пригрозили расстрелом за ослушание. Старушка на это сказала, что с помощью Божией ей и большевики зла не сделали, но словацкие жандармы дальнейшей полемики вести не пожелали, набросили на старушку пальто и силою вывели на шоссе.

Таким образом несчастье соединило нас, то есть ломницкую и матлиарскую группу, на одной дороге. Впереди ехала наша повозка с сыплющимся на стороны багажем, а по окраинам шоссе в гору быстрым темпом шли люди, чуть не падая под непосильною ношей и задыхаясь от быстрой ходьбы. Многие завидовали тем нескольким десяткам счастливцев, которых накануне вывезли присланные из Закопаного немецкие грузовики. В числе счастливцев был и следовавший в собственном автомобиле митрополит Дионисий.

Как бы то ни было, подгоняемый страхом войны и звуками близких выстрелов, печальный кортеж наш подвигался вперед среди такого леса, где, казалось, из густой чащи каждую минуту могут вынырнуть партизаны, которыми, говорят, здесь кишели в то время горы.

Внезапно повозка наша с багажем остановилась и трое черномазых словаков, прежде чем мы опомнились, стали сбрасывать на шоссе наш багаж, поворотили лошадей и отправились во-свояси, объясняя, что дальше не поедут, так как боятся. Никакие протесты и уговоры на этих братушек не подействовали и они, нахлестывая лошадей, поехали обратно, оставив нас на пустынном шоссе, среди леса, вдали от всякого жилья, на груде багажа, с детьми, стариками и женщинами.

Вечерело. Вдобавок ко всему, одна из наших дам оступилась, упала в полуобморочном состоянии и, среди стонов, кричала, что сломала ногу. Три часа до сумерок мы сидели

у края леса, поджидая, не покажется ли на шоссе какая-либо повозка. Положение казалось безвыходным и тут — как это ни невероятно — снова помогли нам Вы, Сергей Львович!

Из-за поворота выехал красивый, открытый мерседес, а за ним, с пулеметом и пулеметчиком на крыше, большой серый штейер. Жена и я бросились ему навстречу, стали посреди шоссе и преградили дорогу. Мерседес остановился. В нем сидел молодой немецкий генерал, который с удивлением оглядывал нашу разношерстную группу, наш сброшенный на шоссе скарб и приютившихся там и тут детей и стариков.

Мы объяснили ему все, что нужно было о распоряжении словацкой жандармерии, о нашей эвакуации из Варшавы, о нашем пребывании в Ломнице и Матлиарах. Генерал не мог сдержать улыбки, глядя на нашу беженскую группу, по-цыгански расположившуюся на обочине шоссе. Оказалось, что он осведомлен о вывезенных из Варшавы русских и, повидимому, лично знает Вас, так как тут же спросил, являемся ли мы группой Войцеховского. На наш утвердительный ответ генерал тотчас же распорядился, чтобы эскортировавший его автомобиль забрал жену и меня и отвез в ближайший населенный пункт — Списка Бела — где нам должны предоставить большой автобус, с которым мы имеем вернуться к оставшимся на шоссе нашим, чтобы доставить их и багаж в ту же Списку Белу. Мы уселись, пулеметчик передал мне пулеметные ленты, дабы я их передавал ему в случае надобности — из этого можно заключить, что сидеть на шоссе было небезопасно — и мы покатили за 12 километров от места нашей остановки в Списку Белу. В этой деревушке действительно нашли мы большой автобус, налили бак его бензином и, снова под эскортом вооруженного пулеметом автомобиля, вернулись за своими, продолжавшими терпеливо ждать у места нашего неожиданного привала.

Между тем некоторые из бредущих по шоссе беженцев кое-как пешком добрались до указанного словацкой жандармерией пункта, то-есть до Татржанской Котлины, где им дали приют в пустынных виллах. Таким образом в Котлине оказалось несколько десятков русских во главе с А. В. Полян-

ским. Это были, главным образом, те, которые проживали в Ломнице. Оставшиеся же на шоссе и ждавшие нашего возвращения в большей части принадлежали к тем, кто проживал ранее в Матлиарах. Приехав за ними с большим автобусом, мы забрали всех, погрузили багаж и поехали обратно в Списку Белу, где мы с женой немедленно завели знакомство с начальником местной немецкой добровольной милиции. Оказалось, что по причине партизанского движения и в Списке Белой отнюдь не безопасно. Оттуда два дня тому назад были вывезены все немецкие дети и женщины, а все мужчины были мобилизованы, вооружены и несли охрану местечка. Начальник милиции выразил удивление, что генерал отослал нас в столь беспокойное место. Тем не менее, ему пришлось нас принять и, после долгого стояния на улице, нас водворили в дом отдыха, покинутый вывезенной отсюда молодежью.

Пока мы перетаскивались с шоссе в лесу в Списку Белу и пока другие наши беженцы ползли старческими ногами в Котлину, бравый генерал наш помчался на автомобиле в Ломницу, явился в тамошнее словацкое жандармское управление и вызвал начальника. Разговор произошел — короткий, вразумительный и запечатлеваемый мною правильно, так как происходил в присутствии нескольких русских, еще не успевших выехать из Ломницы. Генерал спросил вытянувшегося перед ним жандарма:

— Как смели вы выгнать пешком, не дав подвод для багажа, этих русских людей, пустив их брести по опасному шоссе? Если немедленно вы не дадите для оставшихся здесь русских лошадей и подводы и не подберете идущих по дороге, то завтра вы на том свете будете вспоминать, что когда-то были словацким жандармом.

Затрясшийся от страха жандарм немедленно бросился за подводами, лошади тотчас же были запряжены, русские беженцы усажены и рысью повезены в Списку Белу и, пока нас устраивали в доме отдыха, новоприбывшие, свалившиеся на голову немецкой милиции, ждали приюта. За отсутствием подходящих помещений, им отвели овин, где они поместились

в числе, приблизительно, 30-ти человек во главе с К. К. Яворским. Таким образом из числа проживавших в Матлиарах и в Ломнице русских, после их эвакуации из этих мест, образовались три группы: 1, в Котлине с А. В. Полянским; 2, в Списке Белой с К. К. Яворским; 3, в доме отдыха, где был и я.

Впрочем, пребывание третьей группы в немецком доме было кратковременным, вследствие пьяного скандала, учиненного одним из подсоветских. Немцы постарались избавиться от столь дикого элемента и подав, спустя два дня, новый автобус, повезли всех, расположившихся в доме отдыха, в Котлину на соединение с группой А. В. Полянского. Мы с женой присоединились к оставшейся на соломе в овине группе К. К. Яворского. Здесь было не вполне комфортабельно, не кормили, но можно было покупать продовольствие, в Котлине же хотя и были приличные комнаты, но покупать было негде, лавки отсутствовали, а одиночество, изолированность и отсутствие известий действовали подавляюще.

Овин с сеном и соломой на полу на многих непривычных людей действовал угнетающе, а некоторых и шокировал, в особенности когда местные обыватели переспрашивали:

— Русские? А, это те, которые в овине? Знаю...

Этот новый адрес особенно смущал архимандрита Мстислава. Я успокаивал его, как мог. Нервировало и нашего милейшего В. П. то, что на вопрос разыскивающих его в овине обычно отвечали:

— Полковник?.. Он не здесь... Посмотрите там, в стойле рядом...

Кое-как со всем этим справились. Дамы навесили на черные стены свои зеркальца, стали мазать губы и заметно по этой причине хорошеть. Образовались хоры с гитарою. Местные словачки кое в кого повлюблялись. Жители стали ходить по овину и рассматривать чужеземцев, лежавших на сене и невозмутимо жевавших черствый хлеб с терпеливым спокойствием библейских волов.

Впрочем, именно спокойствия-то и не было. Через Списку Белу непрерывно шли на борьбу с партизанами немецкие

войска. Днем и ночью где-то вблизи грохотали пушки. Длинными колоннами проезжали военные грузовики. Как водится, со всех сторон наползали слухи о близящемся советском фронте, о борьбе с растущим партизанским движением. Не успокаивало и то сомнительное настроение, которое наши наблюдали у словаков. Они, как и поляки, отказывались понимать почему мы бежим от своих же русских, которые так хорошо относятся к рабочему классу и за работу платят не иначе, как чистым золотом!

При этих условиях в овине, на сене, начались бесконечные дебаты на тему, как нам следует наилучше и наиболее благоразумно поступать. Как и надлежит, тотчас же образовались группы и партии. Некоторые находили, что всего умнее пробиваться в Братиславу, но признавали это предприятие затруднительным, так как движения поездов не было. Другие настаивали на поездке в Закопаное, в польских Татрах, откуда всего легче снестись с Вами, а Вы уж все как наилучше устроите. Третьи желали ехать прямо в Германию. Четвертые доказывали, что очень хорошо быть в Австрии — в Граце, например. Пятые утверждали, что, если уехать, то ехать прямо к Вам, в Равенсбург. Вероятно, были и еще некоторые умные мнения. Всех не упомнишь.

Были, впрочем, не только мнения, но и действия. Один из советских беженцев, повидимому нажившийся при немцах и прибывший в изгнание с двумя тоннами багажа — сахар, сало и проч. — отделился от нас, испугавшись самой мысли о поездке в Германию. Какая-то группа во главе с г. Хренниковым выехала, пробиваясь через партизан, в Братиславу. Двое-трое нашли себе работу где-то поблизости Списки Белой, но остальные терпеливо ждали распоряжений начальства, сидя в Списке Белой и в Котлине. Наконец пришло известие, что 13-го августа всех сидевших в Списке Белой повезут через Котлину, где заберут тамошних русских, в Закопаное, где будет решена наша дальнейшая судьба. Было высказано, однако, предположение, что мы будем направлены, хотя и кружным путем, но все же в Словакию, в Братиславу. Словопрение и дебаты закончились лишь 13-го августа, ко-

гда за нами в Списку Белую явились три грузовых автомобиля, чтобы забрать русских, находящихся в Списке Белой и в Котлине и всех вместе отвезти в Закопаное на соединение с ранее выехавшими из Ломницы русскими эмигрантами, уже около двух недель сидящими в Закопаном и ждущими дальнейшей отправки.

К вечеру 13-го августа выехали мы все в Закопаное, где тотчас же, уже на дороге, повстречали наших. Оказалось, что русские, выехавшие из Ломницы вместе с митрополитом Дионисием за день до принудительной эвакуации нас словацкими жандармами, ждут в Закопаном дальнейшей отправки со дня на день, о чем их поставит в известность из Кракова управляющий эвакуационными делами при правительстве генерал-губернаторства д-р Хейнеке. Во всяком случае, как объяснили нам опередившие нас русские, полковник Плесцов, играющий в этой группе руководящую роль и несколько раз уже побывавший в Кракове, при последнем своем посещении услышал от д-ра Хейнеке, что русские беженцы ему уже надоели своими постоянными просьбами, визитами, а, главным образом, полной несогласованностью своих просьб, что свидетельствует об отсутствии дисциплины.

Несомненно д-р Хейнеке был прав в своих нареканиях, ибо езда русских в Краков, насколько пришлось услышать, приняла действительно какой-то лихорадочный характер. Дебаты, начавшиеся в ломницких отелях на тему куда бы поехать, продолжавшиеся на сене в овине, в Списке Белой, перенеслись в Закопаное и расцвели здесь махровым цветом. Каждый день в Краков выезжали то единичные ходатаи по своим собственным делам, то делегаты от каких-то таинственных групп, называвших себя то офицерской, то казачьей, то еще какой-то группой единомышленников. Наконец, смущенный этой со всех сторон брызжущей энергией, собрался от лица Русского Комитета и наш милейший А. В. Полянский и, вернувшись из поездки к д-ру Хейнеке вчера, 23-го августа, привез нам сообщение, что, по распоряжению из Кракова, за нами во вторник-среду, то есть 27-28 августа, будут присланы вагоны по расчету 25-ти человек на вагон, в которых мы

проедем в лагерь под Веной. В лагере, после дезинфекции, мы будем все распределены на работу по специальности.

Тут-то и начались споры и тревоги во все возрастающей силе. В глубине души все наши надеялись, что будет выполнен первоначальный наш маршрут и нас снова, хотя и кружным путем, отвезут в Словакию, в более обеспеченную от партизан часть ее, то есть в Братиславу. Оказалось, что относительно возврата в Словакию д-р Хейнеке ответил категорическим Ausgeschlossen! Таким образом рушилась надежда многих устроиться в Словакии на собственные средства и собственными усилиями. Вырос вопрос о необходимости подчиниться указаниям Арбейтсамта и включиться в общую систему распределения трудовых сил. Многих обеспокоила будущность детей призывного возраста и перспектива возможного раздробления семьи, разлуки с детьми, а мужей — с женами. Не знаю, насколько обоснованы эти опасения, но они с новою силою всколыхнули здесь чувства и сегодня вся русская колония полна тревоги перед неизвестностью.

В этот момент пришло спасительное известие, что Вы находитесь в Ченстохове, собираетесь в Краков, а оттуда — в Закопаное. Взоры снова устремляются к Вам с надеждою, что Вы разъясните положение и сможете устроить наше будущее таким образом, чтобы, если не группы, то семьи не были бы разлучены и разбиты.

Были, в результате долгих совещаний, предприняты и некоторые отдельные попытки избежать общей отправки в Австрию. Дело в том, что некоторые из наших успели в свое время получить от д-ра Хейнеке персональные пропуски в Словакию. К удивлению моему, оказалось, что некоторые из этих пропусков датированы 13-м и 15-м августа, то есть теми числами, когда нас всех по соображениям небезопасности пребывания в Словакии транспортировали в Закопаное, но вчерашнее посещение комендатуры погасило у желавших пробираться в Словакию эти последние надежды. Оказывается, что положение в Словакии исключает возможность передвижения по железной дороге в направлении Братиславы — по крайней мере, в ближайшие дни. Повидимому, все эти

мечтатели о Словакии должны будут разделить нашу общую участь в поездке в Австрию. Таково наше общее положение к моменту ожидающегося Вашего приезда. Мы очень расчитываем, что Ваши разъяснения относительно лагерей нас всех успокоят.

Для того, чтобы эти путевые заметки, которые — не знаю — пригодятся ли Вам в каком-либо отношении, были совершенно исчерпывающими, нужно упомянуть вкратце о бытовом нашем устройстве, сначала в Списке Белой, а затем в Закопаном. Обстоятельства выбили нас из этого русла, которое было намечено для нас распоряжениями словацкого правительства. В Ломнице и в Матлиарах находились мы на полном попечении словаков. Я писал Вам уже о том, что были мы устроены превосходно. Семейные, в большинстве случаев, имели отдельные комнаты. Кормили нас совсем не плохо, выдавая утром кофе и хлеб, обед из двух блюд, ужин из одного блюда, причем почти всегда с мясом. В Списке Белой и в Котлине обстоятельства изменились. Мы оказались на попечении местной немецкой добровольческой милиции, которая не располагала никакими, ни материальными, ни денежными ресурсами для нашего прокормления. Таким образом, пришлось кормиться на собственные средства, а так как захваченные нами с собою польские злотые и немецкие марки обменять было совершенно невозможно, а крон словацких никто не имел, то пришлось трудновато. Жили на то, что удавалось выручить за продаваемые вещи. Дамы наши принялись за стряпню, образовали общий котел и, с помощью беженской изобретательности, на тощих супцах продлили мы наше существование до приезда в Закопаное.

Там застали мы русских, прибывших сюда ранее, размещенными в нескольких виллах и, кажется, не плохо. Нас, приехавших из Списки Белой и из Котлины, поместили в доме при бывш. женском католическом монастыре, откуда монахини были выселены в 1941 году. Костел стоит закрытым, а довольно большой дом общежития был пуст, заброшен и основательно засорен. Комнат много, мебели — тоже. Наши энергично взялись за чистку, разместились удобно в отдель-

ных -- для каждой семьи — комнатах, вычистили уборные, подмели коридор, пустили в ход кухню, откуда уже поплыли запахи отечественного характера.

Живем пока на собственные средства, то есть на злотые, вывезенные при эвакуации Варшавы. Это дополняется местными продовольственными карточками и возможностью по пониженным ценам получать обеды в немецком ресторане. Разумеется, обеды не мясные. Почему-то первая группа русских беженцев получает карточки на мясные обеды. Нас всех продовольственные вопросы смущают менее всего, так как пребыванию нашему здесь приходит уже конец. Остается лишь тревога перед условиями будущего пребывания в лагере и, главным образом, перед перспективами вынужденных разлук, но мы не унываем, расчитывая на Вашу, дорогой Сергей Львович, помощь, опеку и содействие.

На этом я заканчиваю пока мои заметки о наших странствиях, которые, может быть, окажутся для Вас в каком-то отношении полезными.

С полным уважением

В. Деменитру.

х

После поражения национал-социалистической Германии автор этих писем и его жена поселились во Франции, где В. В. Деменитру удалось доказать свое право на французское гражданство. Им были созданы в Биаррице и, позже, в Ницце небольшие русские типографии, в которых он работал до наступившей в преклонном возрасте смерти.

Те варшавяне, которых он в своих письмах называл «представителями Русского Комитета» находились в конце 1944 года вместе с другими, эвакуированными из Варшавы эмигрантами, в силезском лагере Бирау, где я их навестил. Земля вокруг этого лагеря была изрыта глубокими воронками, созданными непрерывными воздушными бомбардировками. Мне сказали, что мишенью этих налетов английской и американской авиации был существовавший вблизи лагеря немецкий военный завод. К счастью, в лагере никто не пострадал. После

войны А. В. Полянский, К.К. Яворский и А. Ф. Безобразова — как многие другие варшавяне — принадлежали к возникшей в Равенсбурге и в близком к нему Вейнгартене многолюдной русской эмигрантской колонии. В 1950 году они переселились оттуда в Америку.

Трагически сложилась судьба В. П. Хренникова, который был до войны польским гражданином и, на Волыни, активным деятелем Русского Народного Объединения — политической организации русского национального меньшинства в Польше. Из Словакии ему удалось пробраться в 1944 году в Италию, где он, в чине полковника, примкнул к находившимся там казачьим формированиям. С этими казаками он был выдан в Лиенце большевикам.

Л. Ф. Плесцова и его молодого сына я видел в последний раз в Кракове, куда приехал в январе 1945 года, чтобы эвакуировать оттуда русских эмигрантов. Он рассказал мне, что едет из окрестностей Варшавы в Закопаное, для закупки продовольствия. Мне это показалось необыкновенным риском — германский фронт был прорван и судьба Кракова предрешена — но он на мое мнение не обратил внимания. Много лет спустя Международный Красный Крест установил, что он скончался в советском заключении 17-го апреля 1945 года. Та же судьба постигла его сына 29-го августа 1954 года.

ОФИЦЕР ИЗ МОСКВЫ

В дверь постучали, настойчиво и громко... Я включил свет и прислушался... В то тревожное время — первое лето после войны — полуночный стук не сулил ничего доброго. Я встал и спросил по-немецки:

— Wer ist da?

За дверью ответили по-русски:

— Откройте, товарищ Войцеховский... К вам офицер из Москвы...

x

Беженский лагерь, где 15-го июля 1945 года я услышал странное сочетание моей фамилии со словом «товарищ», родился в начале мая самотеком. В Форарльберге — западном углу австрийских Альп — скопилось к концу войны много разных беженцев. Они надеялись найти убежище в Швейцарии, которая никого, кроме нескольких священников и монахов, не приняла. Разноязычная толпа, теснившаяся у границы, дождалась появления французских танков.

Проволочные заграждения, воздвигнутые во время войны швейцарцами и немцами, перерезали долину, которая тянется от австрийского города Фельдкирха к верхнему Рейну. Над этой долиной стоял вблизи границы невзрачный белый дом — сельская школа австрийской деревни Тизис. От нее лагерь заимствовал свое название.

За школой опускался вглубь долины пологий скат холма. На нем, под конец войны, стояли опустевшие бараки. Их последними обитателями были индусы — военнопленные, завербованные Германией в мусульманский легион. В апреле

они, истощенные голодом, побрели поодиночке в связанный с Швейцарией Лихтенштейн. Швейцарцы их пропустили и немедленно выдали англичанам.

В эти бараки, вечером 3-го мая, хлынули беженцы, которые поняли, что на границе им ни на что надеяться нельзя. С ними туда попали те русские варшавяне, которых утром, в тот же день, швейцарцы негостеприимно вывезли из Лихтенштейна в Австрию. Когда — в тот же день — французские войска заняли Фельдкирх, в бараках скопилось множество народа — тысячи полторы, а то и больше.

Недели две спустя, французский губернатор Фельдкирха, капитан де Лестранж, предложил А. В. Мамонтову и мне привести этот табор в порядок. Я перебрался с моей семьей из барака в разоренную войной школу. Мамонтов туда не переехал. Русские эмигранты, с которыми он из Белграда эвакуировался в Вену, а оттуда — в Тизис, заняли, после исчезновения германских пограничников, один из домиков их таможенной заставы у пограничного лихтенштейнского шлагбаума. Оттуда Мамонтов стал налаживать хозяйство лагеря. На мою долю выпала администрация.

X

Французы, оккупировав западную Австрию, запретили населению выходить на улицу после 8-ми часов вечера. В июле это запрещение еще не было отменено. Я был в лагере единственным обладателем ночного пропуска. Только я мог вызвать ночью врача или скорую помощь. Случалось, что меня будили ночью, но впервые это сделал советский офицер. Что ему нужно? Я подошел к запертой двери и задал этот вопрос.

— Да вы не бойтесь — раздался ответ — я здесь не один... Со мной француз...

Я спросил по-французски:

— Кто тут?

Неподражаемый арабский акцент рассеял сомнение:

— Унтер-офицер 4-ой Марокканской дивизии Магомет-бен...

Положение изменилось... Я повернул ключ в замке. На площадке, за дверью, стоял высокий, широкоплечий офицер. На нем был новый, превосходно сшитый китель, золотые погоны, синие рейтузы, отличные сапоги. За его спиной, приземистый марокканец в тюрбане землистого цвета и французском обмундировании держал в руках автомат.

Майор — я определил его чин по погонам — вошел в заменявший мне квартиру бывший класс школы, огляделся, приложил руку к козырьку плоской, советской фуражки и сказал, неестественно и театрально:

— Простите, товарищ Войцеховский, что я вас потревожил ночью, но я к вам прямо из Москвы... Время трудно было рассчитать...

Это было явной ложью. Он не выглядел человеком, проделавшим далекий путь. Подчеркнутая вежливость не вязалась с ночным вторжением. Он был — я заметил — навеселе, но и это ничто не объясняло.

— Почему ты здесь? — спросил я марокканца, обратившись к нему так потому, что арабы никому, даже своим французским командирам «вы» не говорили.

Майор меня прервал:

— Потрудитесь при советском офицере говорить по-русски...

Я по-французски повторил вопрос.

— Наш патруль — ответил унтер-офицер — обходил границу... Мы остановили автомобиль, в котором был вот этот человек... Он сказал, что едет в лагерь... Командир приказал посмотреть, что он здесь будет делать...

— Что же вам нужно? — перешел я на русский язык.

Он назвал двух русских эмигрантов, которые тогда жили в лагере, и прибавил, что хочет с ними поговорить. Одним из них был Ф., новый эмигрант, которому война дала возможность избавиться от советчины. Другого — А. А. Б. — война застала, кажется, в Далмации, где он удачно чем-то торговал. В лагере он ведал сапожной мастерской, ютившейся в деревенской гостинице «Под Львом», на отлете от бараков. Там же, в тесной комнатушке, жил Б. со своей женой.

Майор, очевидно, знал, где их найти, но и это было загадкой. Нужно было заглянуть в его карты.

— Хорошо — сказал я — поговорите с ними, но в моем присутствии... Подождите, я сейчас оденусь...

x

Мы вышли из школы. Ночь была темна, но внизу, в бараках, в неурочный час, светились окна. Кто-то поднял тревогу:

— К Войцеховскому приехал советский офицер...

Майор и я шли рядом, молча. За нами двинулся марокканец со своим автоматом. Моя жена захотела разделить опасность, которая — как ей казалось — грозила мне. Вчетвером мы подошли к большому бараку, в котором жили Ф. и его семья.

Широкий коридор гудел, как встревоженный улей. В Австрии — слава Богу — французы никого советчикам не выдали, но были случаи охоты на людей и их похищения. Русский ученый, атомный физик, профессор Ч., чудом избежал этой участи. Сербский офицер, живший рядом с лагерем, был схвачен титовцами и увезен в Югославию. Свежи были рассказы о Лиенце. Волнение было понятно, но оно меня встревожило.

— Убьют майора — мелькнула мысль — лагерю не поздоровится...

Остановившись на пороге, я повысил голос:

— Прошу немедленно очистить коридор и разойтись по комнатам...

Неохотно, толпа подчинилась. Я подошел к перегородке, за которой жил Ф., коснулся запертой двери и позвал:

— Господин Ф., в лагерь приехал советский офицер... Он хочет поговорить с вами в моем присутствии.

За перегородкой никто не шелохнулся.

x

Окно той комнаты, в которой Ф., его жена и сын занимали угол, выходило на лужайку. Узкий ручей отделял ее

от густого кустарника и березовой рощи. Пожелай Ф. избежать встречи с майором, он мог легко там скрыться. Нужно было выиграть время, чтобы облегчить ему решение. Помогли обитатели барака — в нескольких дверях появились любопытные лица; несколько смельчаков вышло в коридор, подошло к майору и ко мне.

Это его отвлекло. Он был в том благодушном настроении, которое иногда сопутствует легкому опьянению. Заметив нательный крест на открытой груди украинца Г-ского, он произнес наставительно:

— Это хорошо... У нас теперь церковь на сто процентов работает...

Г-скому такая похвала не понравилась:

— Что это вы людей по ночам пугаете — сказал он недовольно — это ведь запрещено законом.

Майор не затеял спора. Отвернувшись от Г-ского, он вздохнул:

— Что тут говорить... Полукультурный человек...

Взглянув затем на меня, он неожиданно прибавил:

— А ведь я вас, товарищ Войцеховский, знаю...

— Вряд ли... Мы ведь не встречались...

— Нет, знаю... Вы же в Варшаве председателем Комитета были... Нашим военнопленным помогали... Это не плохо...

Необдуманно, я спросил:

— Что же вы, майор, в Варшаве делали?

Он хитро прищурился, в голосе прозвучал упрек:

— Товарищ Войцеховский... Да разве можно спрашивать? Мы же с вами политработники, люди одной школы... Должны понимать...

x

Вдруг он вспомнил, зачем приехал:

— А что же Ф. не выходит? Где же он, наконец?

Фраза оборвалась, дверь внезапно раскрылась. Из комнаты в коридор вышла жена Ф. и выбежал ее сын, мальчик лет десяти.

— Дядя Миша, здравствуй — радостно воскликнул он и бросился к майору. Он его, очевидно, знал давно и хорошо.

Поздоровавшись с ним, майор повернулся к матери:

— Здравствуйте, Анна Степановна... Ну и похудели же вы... Видно, плохо вас кормит товарищ Войцеховский...

Бедной женщине было не до шуток.

— Михаил Семенович — сказала она взволнованно — зачем вам Борис? Оставьте его в покое...

— Да я ему вреда не причиню... Пусть только съездит со мной...

— Не верю... Вы его убьете...

— Да что вы, Анна Степановна... Завтра же привезу обратно... Он, дурак, собственной пользы не понимает.

Не понял ничего и я. Весь этот быстрый, возбужденный разговор был для меня загадкой. Я ждал объяснения, но майор махнул рукой.

— Он от меня, все равно, не уйдет... Черт с ним... Поговорим-ка с Б.

Жена Ф. расплакалась. Мы вышли из барака.

X

После освещенного коридора ночь показалась непроницаемой. На дороге, извилисто спускавшейся в долину, майор вздрогнул.

— Куда вы меня ведете? — спросил он, озираясь.

— Туда, куда вы просили вас отвести...

— Не шутите... Тут всюду мои люди... Я свистну и они появятся...

Правую руку он положил в карман.

— Оставьте ваше оружие в покое — сказал я сухо — вас здесь никто убить не намерен... Да вот мы и дошли...

Гостиница возникла перед нами темным и немым пятном. Я вошел в сапожную мастерскую, открыв ее моим ключем, и осветил электрическим фонариком узкий проход между станками. За моей спиной, майор дышал тяжело.

Подойдя к комнате Б., я его окликнул и назвал себя. Комната осветилась, дверь распахнулась. Б., в халате, взглянул

на меня удивленно, а затем, увидев майора, побледнел. Я его успокоил:

— Не бойтесь, Афанасий Александрович... Вам ничто не грозит... Вы знаете майора?

— Да, знаю...

Я не ошибся — не только Ф., но и Б., где-то встречались с этим советским офицером. Майор знал не только Б., но и его жену. Между ними возникло пререкание. Майор настаивал на разговоре Б. с советским генералом, который, дескать, ждет его в пограничном баварском городе Линдау, и настаивал на немедленной, ночной поездке Б., дрожавшего от страха. Его жена воскликнула:

— Скажите, Сергей Львович, обязан ли мой муж поехать?

— Нет, не обязан... Никто не может вас заставить дать согласие на разговор с советским офицером и даже генералом... При каждой такой встрече должен присутствовать представитель французского командования. Здесь, в лагере, его представляю я...

Это было невероятным преувеличением моего значения и прав, но ход оказался верным. Майор вспомнил, должно быть, оставшегося на дороге вооруженного марокканца. Он понял, что игра проиграна, но сдался не сразу.

— Даю вам десять минут на размышление — сказал он Б. и вышел из комнаты.

— Я никуда не поеду — крикнул Б. ему вслед.

x

В садике, окружавшем гостиницу, майор остановился, закурил и, помолчав, задал мне неожиданный вопрос:

— Скажите откровенно, как вы смотрите на положение?

— Думаю, что вам и нам предстоят лет пять передышки...

— Ошибаетесь... Новая война на носу...

— Вы в этом уверены?

— Определенно... Впрочем, только вожди знают это точно... Вы что, к себе вернетесь?

— Да, а вы?

— Что же, и мне пора... Там наверху остался мой автомобиль... Можете ли вы сказать шоферу, чтобы он сюда подъехал?

— Хорошо, скажу...

Обратившись к марокканцу, я прибавил:

— Все в порядке... Этот офицер отвезет тебя на заставу... Присмотри только, чтобы он здесь больше никуда не заходил...

x

Автомобиль стоял на дороге, недалеко от школы. За рулем сидел белобрысый парень в сером пиджаке. Я его не узнал, но он весело меня окликнул:

— Здравствуйте, Сергей Львович...

— Шевченко, вы ли это?

— Так точно, я...

Бывший военнопленный красноармеец, уроженец Полтавщины, был одним из первых обитателей Тизиса. В июне он исчез. Говорили, что он вернулся на родину, но, вот, вместо России, оказался в автомобиле «офицера из Москвы». Нужно было воспользоваться неожиданной встречей. Я спросил:

— Это вы, Шевченко, привезли сюда майора?

— Да, я...

— Как его зовут?

— Хоменкой...

— Он ждет вас у гостиницы, внизу... Вы с ним вдвоем?

— Вдвоем...

— Ну что ж, прощайте.

— Прощайте, Сергей Львович.

Он включил мотор, зажег фары. Свет скользнул по окнам школы, по кучке щебня на обочине, скрылся за поворотом и исчез.

x

Миновало несколько дней... Ф. и Б. скрылись из Тизиса. Заручившись французскими пропусками, они уехали в Мюнхен, где Ф. — много позже — скончался. Б. и его жена, в

1951 году, перебрались в Америку. Мы встретились на ферме Толстовского Фонда, в окрестностях Нью Иорка. Он вспомнил ночное появление советского офицера в Тизисе, назвал меня своим спасителем, но уклонился от ответа на вопрос, когда и где встречался раньше с советским майором.

Впрочем, я тогда уже знал, что в последние месяцы войны в Левисе, предместье Фельдкирха, существовал немецкий лагерь «остарбейтеров». Называвший себя Хроменкой «лагерфюрер» обращался с ними жестоко. Фельдкирхский комитет сторонников генерала А. А. Власова, членами которого были Б. и Ф., за них заступился и этим, очевидно, навлек на себя гнев советского разведчика, скрывавшегося под маской верного слуги Германии. Поэтому, вероятно — в погонах красного майора — он нагрянул ночью в Тизис.

ГЕНЕРАЛ ДЮМА

Это случилось в Америке, в начале пятидесятых годов. Развернув «Нью Иорк Таймс», я увидел сообщение из Парижа:

— Генерал Дюма назначен в Лилль командующим войсками военного округа.

Так вот где он теперь, этот храбрый военачальник... Я вспомнил его грозный вид, протянутую руку... Я услышал его возглас:

— Дорогу генералу!

В памяти воскрес трудный сорок-пятый год, который мне пришлось пережить в Форарльберге, австрийской провинции на границе Швейцарии и Лихтенштейна. Поздним летом этого года я еще делил с А. В. Мамонтовым управление беженским лагерем Тизис под Фельдкирхом, но меня отвлекали другие заботы. Французский военный губернатор Форарльберга, полковник Юнг, одобрил предложенное мною упразднение беженских комитетов, возникших в начале мая, после прекращения военных действий, и их замену новым учреждением — Социальной Службой Перемещенных Лиц, состоящей из национальных делегаций. Это дало возможность создать русское представительство — из всех беженцев только мы не основали во-время своего комитета. Мне пришлось часто ездить из Фельдкирха в Брегенц — административный центр провинции — для переговоров с сотрудниками Юнга, подполковником де Жерфаньон и капитаном Бертранди. Между тем, надо мной сгущалась черная туча. Состоявшая из левых «резистантов» и некоторых коммунистов французская военная полиция в оккупированной Германии и ее русские агенты сделали две — к счастью неудачные — попытки похитить и увезти меня из Австрии на расправу. Нужно было поду-

мать о самозащите. В этой обстановке А. В. Мамонтов постепенно становился единоличным хозяином лагеря.

x

Русский человек талантлив и предприимчив. Освободившись от мертвящей хватки «победившего социализма», он проявляет творческий почин и охотно берется за любой, даже непривычный труд. Это сказалось в Тизисе, как только из него отхлынули венгры, чехи, галичане. По почину Мамонтова, были созданы мастерские. Одна из них, руководимая талантливым художником А. А. Соколовым, много позже скончавшимся в Калифорнии, украшала деревянные шкатулки и тарелки лихими тройками и героями русских сказок. Тогда же Соколов написал превосходные портреты княгини Лихтенштейнской и Екатерины Анатольевны Кессель, состоявшей на французской службе в чине лейтенанта. Княгиня приезжала в беженский лагерь из Вадуца, столицы своего маленького государства, а Е. А. Кессель оказала русским эмигрантам, в то жестокое время, неоценимую помощь. Однако, больше, чем кисть Соколова и кустарные изделия, французских офицеров привлекала сапожная мастерская. Ею тогда ведал В., русский эмигрант из Югославии, воспитанный человек, хорошо говоривший по-французски.

x

В августе Мамонтова и меня вызвали в Фельдкирх. «Вас хочет видеть генерал Дюма», сказали нам в ратуше, где с первого дня оккупации разместились французские военные учреждения.

Ждать под стрельчатым, средневековым потолком старинной части здания не пришлось. Нас сразу пригласили в зал, где, лицом к двери, сидел в глубоком кресле низкорослый, темноглазый генерал. Его усы топорщились как у сердитого кота. Взгляд был неподвижен. Он был, одновременно, важен и смешон. За креслом, почтительным полукругом, стояло местное военное начальство.

Мы остановились у порога. Не удостоив нас приветствием, генерал отрывисто спросил:

— Который?

Адъютант наклонился и что-то ему вполголоса сказал. Генерал знаком подозвал Мамонтова и задал ему несколько вопросов. На меня он не обратил ни малейшего внимания.

— Он хочет осмотреть лагерь -- сообщил Мамонтов, когда мы вышли в коридор.

x

Прошло несколько дней. Я сидел утром в канцелярии, проверяя какой-то список. Внезапно в комнату вбежал, запыхавшись, один из обитателей Тизиса.

— Приехал французский генерал -- воскликнул он взволнованно — хочет увидеть Мамонтова, а его, как на зло, нет... Что делать?

— Ничего... Успокойтесь... Я с ним поговорю...

Действительно, на пыльной дороге, ведущей мимо лагеря из Фельдкирха к пограничной заставе, стоял большой, открытый мерседес. Генерал Дюма утопал в нем по-плечи. Только походное кепи с двумя звездочками возвышалось над автомобилем. За рулем сидел унтер-офицер.

Я подошел и сообщил, что Мамонтов, к сожалению, в отлучке, но что я могу, если генералу угодно, показать ему лагерь. Он сразу оживился, стал разговорчив и любезен, пригласил меня сесть с ним рядом. Я перечислил канцелярию, жилые бараки, кухню и спросил, с чего начать осмотр, но он меня прервал:

— У вас, говорят, есть сапожная мастерская... Нельзя ли на нее взглянуть...

— Конечно, да... Пожалуйста...

Я объяснил шоферу, где нужно спуститься под гору. Минуты через три мы остановились у подъезда деревенской гостиницы, где, в бывшем кегельбане, разместилась мастерская. Наше появление никого не удивило. Французы бывали там часто, а в чинах обитатели лагеря разбирались плохо, но В., стоявший у стола, на котором закройщик размечал мелом

еще не разрезанную кожу, сразу понял, с кем имеет дело. Представившись, он подвел генерала к станку, за которым «сапожник», еще недавно занимавшийся совсем другим, бережно пришивал подметку к мужскому сапогу.

— А готовой обуви у вас нет? — спросил генерал.

— Есть — ответил В. — вот здесь, на полке... Это все заказы французских офицеров...

Генерал снял с полки одну пару, потом другую... Он долго и внимательно их рассматривал. Казалось, что он занят мучительной мыслью. Вдруг его взор остановился на коричневых башмаках небольшого размера.

— Это чье? — спросил он резко.

— Лейтенанта Руссель... Он заедет за ними завтра...

— Завтра? — переспросил генерал и нахмурился, но только на мгновение. Его лицо вдруг стало торжественным. Он протянул руку к полке и воскликнул:

— Лейтенант подождет... Le Général passe en avant... Дорогу генералу... Заверните...

Пришлось подчиниться... Он бережно отнес добычу в автомобиль, положил ее на сиденье и любезно предложил отвезти меня обратно в канцелярию. Мы расстались друзьями, но я не знаю, как бедный В. объяснил лейтенанту исчезновение его заказа.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В ночь на 3-го мая 1945 года небольшой русский отряд — кадр 1-ой Русской Национальной Армии, на формирование которой Германия слишком поздно согласилась — поднялся в гору из деревни Нофельс, на границе Австрии и Лихтенштейна, и эту границу перешел.

Командовавший им генерал Хольмстон (Б. А. Смысловский) хотел спасти людей, доверивших ему свою судьбу. Он принял смелое решение. Оно оказалось верным. Отряд был интернирован в Шаане, на правом берегу верхнего Рейна. Никто советчикам выдан не был. Большинство получило возможность эмигрировать за счет лихтенштейнского правительства в Аргентину. Остальные рассеялись по Западной Европе. Немногие попали в Соединенные Штаты.

В ту же ночь, под прикрытием отряда, из Австрии в Лихтенштейн проникли эмигранты, не участвовавшие в войне. Великий князь Владимир Кириллович, эрцгерцог Альбрехт и некоторые члены варшавского Русского Комитета с семьями надеялись найти в нейтральном княжестве убежище от опасности, надвигавшейся с Востока, но вера в западную гуманность их жестоко обманула.

Лихтенштейн связан со Швейцарией договором, который, не нарушая его суверенности во внутренней политике, подчиняет внешнюю Берну. В военные годы это связало княжество по рукам и по ногам. Как только отряд перешел границу, швейцарские офицеры приказали ему разоружиться, увезли командира и его жену, отделили офицеров от солдат и занялись их интернированием. Обманув великого князя, эрцгерцога и русских варшавян обещанием убежища, они отвезли их под стражей на границу Австрии и бросили на про-

извол судьбы между двумя рядами проволочных заграждений. В это незабываемое утро положение казалось безвыходным.

x

Счастье изменчиво, но милостив Бог... 17-го февраля 1947 года я приехал в Вадуц — столицу Лихтенштейна — не как гонимый иностранец, а как признанный французской военной властью в Австрии представитель русских эмигрантов. Мне предстоял разговор о судьбе тех, интернированных в Шаане чинов отряда, которые хотели соединиться с семьями, оставшимися в Германии.

Их первая попытка была неудачной. Княжество не воспрепятствовало уходу нескольких человек из лагеря — оно избавилось от непрошенной обузы — но французские жандармы, никем не предупрежденные, арестовали пришельцев на границе, увезли в Иннсбрук и там заключили в тюрьму. Возглавленная мною русская эмигрантская делегация узнала это не сразу. Дело неприятно затянулось, хоть позже кончилось благополучно.

Между тем еще два офицера, мать одного из них и жена другого двинулись из Шаана вслед за первой группой. Им как-то удалось миновать французскую пограничную стражу и явиться в Фельдкирхе ко мне на квартиру. Благородство французских офицеров, которым я это рассказал, дало возможность снабдить нежданных гостей пропусками и в тот же день переправить их в Германию, но повториться это не могло. Французы предупредили Лихтенштейн, что вернут на его территорию русских офицеров и солдат, которые проникнут в Австрию без предварительного разрешения оккупационной власти. Княжество, однако, не могло вступить в переговоры с французами, не нарушив договора со Швейцарией. Оно избрало окольный путь, направив ко мне начальника своей полиции Иосифа Брунхарта. После моей встречи с ним препятствия — с обеих сторон — были устранены. Нужно было, однако, договориться о подробностях с главой княжеского правительства д-ром Александром Фриком.

x

Здание, в котором он меня любезно принял, могло бы стоять до революции где-либо в небольшом губернском городе на юге России. Пирамидальные тополи колыхались на ветру перед его гладким, казенным фасадом. В широких коридорах стояли — как когда-то у нас — тяжелые, дубовые скамьи. Над ними витала торжественная тишина «присутственного места». Только снежные вершины альпийских гор над Вадуцом и в Швейцарии, за Рейном, не были похожи на русский степной простор. В приемной — небольшой комнате на втором этаже — приветливая секретарша сказала:

— Господин премьер-министр вас ждет.

Обстановка кабинета, в который она меня ввела, была деловой и скромной — большой письменный стол, несколько кресел, много книг, портрет правящего князя Франца-Иосифа на стене. Поднявшийся мне навстречу глава лихтенштейнского правительства был моложав, невысок, широкоплеч. Он был спокоен и приветлив. Разговор начался легко. Он на лету схватывал мои пожелания, принял их к сведению без возражений, а затем, неожиданно, сказал:

— Ко мне из Парижа приезжал советский генерал... Требовал выдачи интернированных в Шаане... Уговаривал и грозил... Утверждал, что, если они не будут выданы, Советский Союз никогда не установит ни дипломатических, ни экономических отношений с Лихтенштейном... Я ему ответил: «Ну что же, это дело ваше, но я не хочу, чтобы мои внуки когда-либо могли сказать, что их дед был убийцей».

X

Я видел и слышал немало знаменитых людей — монархов, президентов, министров, дипломатов. Одни прогремели на весь мир и заслужили славу или поношение. Другие блистали необыкновенным красноречием. Третьи были умны, талантливы и властны, но немногие вызывают во мне то восхищение и ту признательность, которые я испытал в разговоре со скромным сыном лихтенштейнского крестьянина, премьер-министром небольшого европейского княжества Александром Фриком.

МЯСОЕДОВ

В 1963 году московским издательством Академии художеств были напечатаны воспоминания Александра Герасимова. В них упомянут Иван Мясоедов, живший до революции в Петербурге. «Он — сказано в этой книге — был высокий ростом в полном смысле слова красавец с богатырским телосложением... Он был художником... На годичных балах-маскарадах получал всегда первую премию за красоту. Полуобнаженный, с леопардовой шкурой через плечо, с играющими мускулами, с венком из виноградных листьев на голове, с лицом Антиноя, он был похож на античную статую... Будучи в Италии в то время, когда там произошло страшное землетрясение в Мессине, он выступил в цирке, приняв вызов профессиональных атлетов, которые вызвали на пари охотников повторить их упражнения... Мясоедов проделал все нужные упражнения с большей ловкостью, чем это делали атлеты, и тут же выкинул красивый жест, сказав, что выигранные деньги он отдает в пользу жертв землетрясения... Можно себе представить, какой гром аплодисментов раздался в цирке. В дни октябрьской революции он эмигрировал и, не припомню, в Австрии или в Германии был арестован за подделку фунтов стерлингов. Его судили и посадили в тюрьму. Был слух, что в тюрьме он расписал церковь и был отпущен до срока. С тех пор о нем ничего не слышал».

x

Этот рассказ напомнил мне летний день 1946 года, когда я впервые услышал имя Мясоедова. Как признанный французской оккупационной властью в Австрии представитель русских эмигрантов, я тогда смог побывать в Лихтенштейне, с

которым было связано неприятное воспоминание — предыдущей весной это маленькое княжество, под давлением Швейцарии, отказало в политическом убежище не только мне с моей семьей, но и великому князю Владимиру Кирилловичу, эрцгерцогу Альбрехту и сопровождавшим их лицам, весьма невежливо перебросив нас в Австрию.

Приехав туда, я естественно захотел взглянуть в Шаане на лагерь интернированных там чинов 1-ой Русской Национальной Армии и повидать их командира, генерала А. Хольмстона. Наша встреча состоялась в гостинице, где он тогда жил со своей супругой. В одной из комнат мое внимание привлекли висевшие на стене абстрактные, но прекрасные рисунки, свидетельствовавшие о редком мастерстве художника. Они были подписаны И. Мясоедовым. Имя это сохранилось в памяти, но позже я узнал, что в Лихтенштейне он известен, как профессор Зотов. Мне это показалось странным — иностранцу было тогда нелегко поселиться в оберегавшем свою независимость небольшом европейском государстве, к тому же под подложным именем — но вникать в эту загадку я не стал. Других забот в те годы было слишком много.

x

В начале 1947 года мне сказали, что Зотов арестован и обвинен в подделке американских долларов. Несколько позже его жена — итальянка — обратилась к русской эмигрантской делегации в Форарльберге — западной австрийской провинции — с просьбой помочь ей и мужу переехать из Лихтенштейна в любую другую страну. Вслед затем пришло известие об их отъезде в Италию. Представитель лихтенштейнского правительства, с которым я тогда встречался, подтвердил обвинение и непонятную развязку. С тех пор я о Мясоедове ничего не слышал. Лишь в начале 1976 года биография и судьба одаренного художника, ставшего на скользкий путь, была мне рассказана на основании сведений, сохранившихся в одном из европейских архивов.

Иван Мясоедов родился в 1884 или 1885 году в небольшом имении своего отца. Окончил в Полтаве гимназию и, с

отличием, Императорскую Академию Художеств в Петербурге. Проявил себя талантливым живописцем и графиком, был привлечен к работе для Монетного Двора. После революции эмигрировал в Италию. Переехал оттуда в Германию, где очень нуждался и занялся подделкой английской валюты. Был в этом уличен, судим и приговорен к 20-ти годам тюремного заключения, которое не отбыл потому, что с ведома президента германской республики и по приказанию военного министра был изъят из ведения гражданской власти под предлогом обвинения в шпионаже. В действительности, он оказался в ведении Рейхсвера, поместившего его в крепость Кольберг, где он изготовлял для военной разведки поддельные документы, которыми снабжались действовавшие против СССР германские агенты.

После прихода Гитлера к власти и создания Вермахта, он был передан в ведение занимавшегося саботажем и диверсией второго отдела Абвера. Состоял на его службе до июня 1944 года, когда начальник этого отдела, полковник, барон В. фон Фрейтаг-Лорингхофен, застрелился вследствие причастности к заговору на жизнь фюрера, а Абвер — военная разведка и контр-разведка — был передан в ведение Кальтенбруннера, начальника Главного управления государственной безопасности. Новому начальству Мясоедов сказал, что считает себя противником большевиков и капиталистического мира, разрушить который можно распространением поддельных денежных знаков. Ему тотчас же было поручено изготовление фунтов стерлингов, не отличавшихся от подлинных настолько, что Лондону пришлось изменить их рисунок.

x

В Лихтенштейне он был — по документам — русским эмигрантом Зотовым. Жил скромно. Давал уроки рисования. Гравировал для княжества образцы его почтовых марок. Организовал выставку своих картин, имевшую большой успех. На ней, в частности, были показаны портреты княгини Лихтенштейнской и жены генерала Хольмстона.

В 1946-1947 г.г. в Швейцарии появились поддельные доллары. Поездки Зотова в Цюрих, где он покупал и откуда привозил в Вадуц краски и тушь, вызвали подозрение. Было установлено наблюдение, завершившееся обыском. Американские эксперты, прилетевшие из Соединенных Штатов, были поражены сходством изготовленных Зотовым долларов с подлинными. Суду он сказал, что работал над изобретением, которое — в случае удачи — сделало бы подделку американской валюты невозможной. Лихтенштейн ограничился его высылкой с женой в Италию.

Они прибыли туда с туристической визой, которую удалось продлить, но от этого она не стала постоянной. Хлопоты о въезде в Аргентину увенчались не сразу. Понадобилось благоприятное решение самого Перона, бывшего тогда главой государства.

Случилось это в 1949 году. Поселившись в окрестностях Буэнос Айреса, Мясоедов вскоре заболел. Операция установила рак, от которого он, несколько месяцев спустя, скончался.

АНТИКВАР

Обстоятельства сложились так, что вскоре после переселения в Америку — в 1951 году — я должен был купить икону. Это оказалось трудным. Зарабатывал я мало, цены были недоступными. Неудачей я поделился с Александром Александровичем Пашковым, который был тогда одним из директоров Толстовского Фонда. Он мне помог, но прежде, чем об этом говорить, нужно сказать несколько слов о нем самом и об его жене, Марии Александровне, до замужества — княжне Волконской. Были они людьми необыкновенными, исполнившими Евангельскую заповедь: «Аще хощеши совершен быти, продаждь имение твое и даждь нищим и имети имаши сокровище на небеси».

Ничто — казалось бы — их к этому не располагало. По рождению, Пашков принадлежал к одному из богатейших семейств России. Состояние его предков — как и Строгановское — было создано Уральской горной промышленностью, росту которой Петр Великий способствовал реформами и войнами. Знаменитый московский дворец до сих пор называется — даже в советских путеводителях — Пашковским домом. Однако, по образованию и воспитанию мой современник был не только русским, но и европейцем. Его дед, Василий Александрович, отставной гвардии полковник, основавший в Петербурге так называемое Общество поощрения духовно-нравственного чтения и положивший этим начало секте пашковцев, эмигрировал в 1884 году и поселился в Англии. Связь с этой страной сохранил внук, учившийся в Кембридже, но оставшийся российским подданным. Поэтому он должен был отбыть воинскую повинность на родине деда и сделал

это, как вольноопределяющийся Кавалергардского полка, с которым, в офицерском чине, участвовал в войне с Германией. В Соединенные Штаты он приехал из Европы после крушения надежды на скорое освобождение отечества от большевиков.

Моя семья испытала его доброту и щедрость, когда он предоставил нам квартиру в своем доме, вблизи Толстовской фермы, где я тогда служил, и в течение года отклонял какую-либо плату. Позже, желание стать православным священником побудило его расстаться со всем имуществом. Вырученные средства он немедленно роздал. Мне стоило немалого труда отказаться от денег, которые он настойчиво хотел подарить.

М. А. Пашкова скрывала под напускной суровостью такую же доброту и щедрость. Когда ее муж стал священником в Ново-Дивеевском монастыре, в окрестностях Нью Иорка, они жили в обстановке, которую иначе, чем бедностью, нельзя было назвать.

x

Выслушав рассказ о неудачных поисках доступной по цене иконы, А. А. Пашков спросил:

— А почему бы вам не обратиться к Золотницкому?

Вопрос показался мне странным. Бывший киевский, а затем парижский ювелир был в Нью Иорке владельцем антикварного магазина, славившегося замечательным подбором редких русских вещей. В его витринах можно было увидеть драгоценные изделия Фаберже и другие произведения русского искусства, украшенные золотом и самоцветными камнями. Найти там икону по моим скромным средствам казалось невозможным. Сомнением я поделился с Александром Александровичем, но он сказал:

— Ничего... Сошлитесь на меня... Я недавно ему кое-что продал... Он вам поможет.

Ни на что не надеясь, я последовал этому совету.

x

Золотницкий оказался моложавым, смуглым человеком. В его внешности было что-то южное. Он легко мог сойти за испанца или итальянца. Принял он меня приветливо и, услышав ссылку на Пашкова, стал еще любезнее.

— Конечно — предупредил он — старинный русский образ обойдется вам слишком дорого, но из Парижа я недавно получил написанные там превосходные иконы в чеканных медных ризах... Взгляните сами... Если понравятся, я уступлю вам одну за пятьдесят долларов...

Не колеблясь, я поблагодарил, а затем, оглянувшись на украшавший магазин великолепный русский фарфор, задал несколько вопросов, обличивших мое к нему внимание. Вероятно поэтому Золотницкий предложил мне взглянуть на другие комнаты, оказавшиеся поразительным музеем русской старины. Затем, вернувшись в первую, он подвел меня к низкому столику, на котором, под стеклом, лежали круглые и квадратные табакерки Елизаветинской и Екатерининской эпохи и сверкал крупными бриллиантами золотой портсигар, на котором британский король Георг Пятый был изображен в красном мундире и голубой ленте ордена Подвязки. Приподняв стекло, Золотницкий передал его мне и спросил:

— Как вам это нравится?

Я замялся... Обидеть любезного антиквара не хотел, но похвалить крикливое богатство показанной мне вещи не мог. Он заметил мое колебание, улыбнулся, взял портсигар из моих рук, поднял его высоко и с расстановкой, подчеркнувшей каждое слово, сказал:

— Я тут его держу...

Остановившись на мгновение, он продолжил фразу:

— Чтобы они видели разницу между этой дрянью и настоящим русским искусством!

Своих богатых покупателей он, конечно, не назвал, но я его и так понял.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ПОРТУПЕЯ

Поезд нью-иоркского метро проезжал в вечерней темноте над низкими крышами Астории. Первый снег, выпавший днем, блестел на них тонким покровом в серебряном свете высоких фонарей. Вагоны громыхали, скрипели на поворотах. Они были, в этот поздний час, пустыми. Одинокий старик дремал в углу, закрыв глаза. В моих руках был узкий, деревянный, лакированный ларец, запертый маленьким ключем. На вправленной в крышку перламутровой таблице было написано: «Император Николай Первый». В самом ларце лежали его портупея и перчатки императрицы. Я вез их в казавшийся мне тогда — в 1966 году — верным хранилищем исторических реликвий Кубанский войсковой музей.

x

В одной из моих комнат висит на стене литография, на которой сказано, что она была напечатана, с Высочайшего соизволения, петербургским литографом А. Мюнстером с рисунка и гравюры академика А. Кольба. Надпись на русском и французском языке поясняет, что литография изображает «кабинет в Бозе почившего Августейшего Государя Императора Николая Первого, в котором Его Величество скончался 18-го февраля 1855 года».

Этот царский кабинет был загроможденной многими вещами, тесной комнатой под низким, сводчатым потолком. Он был освещен одним, большим окном, за которым были видны верхушки нескольких деревьев и колоннада другого здания. Стены были обтянуты узорчатым штофом и увешаны картинами — изображениями батальных событий. В амбразу-

ре, вдоль окна, затянутого внизу темной занавеской, стоял короткий стол, а на нем — несколько книг и ящик с ручкой на крышке. Рядом, в самой комнате, был второй, письменный стол. Перед ним — простой стул и, слева от него, круглый столик на одной ножке. На письменном столе — в центре и справа — были расставлены: часы, чернильница, звонок, портрет императрицы в темной рамке и, рядом, небольшая рамочка. Слева, на том же столе, стоял чугунный дворцовый гренадер.

Правый угол комнаты, в котором амбразура сходилась со стеной, был сплошь завешан мужскими и женскими портретами, вероятно, царских сыновей и дочерей. Простенок от этого угла до камина был занят громоздким и вряд ли удобным диваном. Его высокая, прямая спинка ничем украшена не была. Стоявшие на камине часы во французском вкусе эпохи были придавлены тяжелым, бронзовым бюстом Петра Великого. Рядом, небольшая чугунная группа изображала убитого всадника, упавшего навзничь на пологий камень, и его коня. Между диваном и камином, изголовьем к стене, была втиснута походная, складная кровать, на которой император скончался. Низко над ней висел на стене портрет молодого офицера в расшитом галунами гусарском доломане, высоком кивере и ментике. Напротив, у другой стены, стояло зеркало в широкой раме, а с обеих его сторон тянулись к потолку большие свечи в изогнутых канделябрах. Рядом с зеркалом к квадратному столику было прислонено оружие покойного монарха — сабля, шпага, ружье и палаш, с рукояти которого свисала портупея. Именно ее я вез в Кубанский музей.

X

Вторым председателем основанного в 1931 году в Варшаве Российского Общественного Комитета в Польше — представительства не примирившихся с советчиной эмигрантов — был генерал-лейтенант Пантелеймон Николаевич Симанский, умный и просвещенный человек, воспитанный в традициях поместного дворянства.

Офицер генерального штаба, военный историк, знаток Суворова и его эпохи, он был радушным хлебосолом. В день именин — своих или жены — и по большим праздникам он собирал за обильным столом гостей, разделявших его военные и научные вкусы. Все они были значительно старше меня. Случалось, что один из них спрашивал:

— А вы помните, Сергей Львович, как вскоре после восшествия императора Александра Третьего на престол...?

Я почтительно прерывал:

— Нет, Ваше Превосходительство, не помню... Меня тогда еще не было на свете...

Неизменным участником этих встреч был полковник Александр Иванович Григорович, коренной офицер драгунского Военного Ордена полка, автор изданной в 1907 году полковой истории. Внешне он казался не кавалеристом, а мыслителем. Военной выправки в нем осталось мало, но красивая, седая голова привлекала внимание. Он и его младший брат, гвардейский офицер, рано стали эмигрантами. Я впервые их увидел в Варшаве весной 1919 года, накануне моего опасного «похода» в занятый большевиками Киев. Встретился я с ними вторично в Польше через два с половиной года.

После смерти П. Н. Симанского я потерял А. И. Григоровича из виду. Он сторонился общественной жизни, предпочитая ей книги, а я был поглощен эмигрантской «политикой», причинившей мне в последние довоенные годы множество неприятностей. Осенью 1939 года Германия напала на Польшу и началась новая эпоха.

x

Только немногие русские варшавяне понимали тогда, что им сулит вероятное поражение Гитлера. А. И. Григорович был более предусмотрительным. Летом 1942 года он пожелал меня увидеть. Я был тогда председателем Русского Комитета и пригласил его в мой кабинет, которому великолепный, большой портрет Николая Первого и мраморный бюст Александра Второго придавали торжественный, парадный вид.

Он мало изменился с тех лет, когда мы встречались за гостеприимным столом П. Н. Симанского. Как в мирное время, он был скромно, но тщательно одет. Однако, под его спокойной внешностью таилось мрачное предчувствие.

— Я стар — сказал он — и проживу недолго... Когда умру, некому будет позаботиться о вещах, которые мне дороги... Вы моложе и, я знаю, не оставите их, когда настанет неизбежная опасность... Пожалуйста, примите на хранение эту шкатулку... Вы найдете в ней портупею государя Николая Павловича и перчатки его супруги...

Благоговейно я принял эти вещи и взглянул на портупею. Она была сделана из отлично сохранившейся, крепкой ленты двух цветов — желтого и голубого. Под нею я увидел пару женских лайковых перчаток, которые император хранил всю жизнь. Они, очевидно, много говорили его сердцу. На дне шкатулки я обнаружил исписанный старинным почерком, со многими завитушками, трижды сложенный листок бумаги. Развернув его, я прочитал:

— Портупея Императора Николая 1-го и перчатки Государыни, его жены.

Генерал от Кавалерии Андрей Александрович Куцынский, служа в III Отделении Корпуса Жандармов при графе Бенкендорфе, часто бывал во дворце, знал многих служащих при Императоре Николае Первом. В 1855 году, находясь в Варшаве в отставке, отправился в Петербург, поклониться праху обожаемого Государя. Встретя старых знакомых слуг Государя, просил дать ему на память вещицу, не имеющую цены, но бывшую близко к Государю, и получил эту портупею и перчатки, найденные в Его кабинете, в бюро, вероятно Супруги его Александры Феодоровны, бывшей еще невестой. Портупею эту Государь носил до последнего дня, пока слег в постель.

После смерти Генерала Куцынского, в 1875 году, досталась эта портупея и перчатки его сыну, Александру Андреевичу Куцынскому, адъютанту Наместника Царства Польского,

Графа Берга. В 1878 году, Полковник Куцынский, уезжая за границу, по дружбе ко мне, зная, как дорога мне память покойного Государя, подарил мне эту портупею и перчатки.

Варшава, 1878 г.

Отставной Подполковник Сумского Гусарского полка Михаил Федоренко.»

х

Кроме портупеи и перчаток, А. И. Григорович передал мне литографию, которую я бережно храню, и портрет подполковника Федоренко. Со взбитой над теменем прической и короткими бакенбардами он был на нем похож на героев александровской эпохи.

Когда, в июле 1944 года, советские войска подошли вплотную к Варшаве, мне пришлось заняться эвакуацией русских эмигрантов. Вывезти портрет не удалось, но шкатулка и ее реликвии были спасены. Я долго их хранил, но, состарившись, опрометчиво передал на хранение Кубанскому музею, разрушенному распрей зарубежных «атаманов». Последний из них, инженер А. В. Бублик, на двукратную просьбу о возвращении принадлежащих мне вещей ответить не соблаговолил.

КНИГА

Habeant sua fata libella
(Латинская поговорка)

Есть и у книг своя, порой необыкновенная судьба... В трудные годы жестокой войны те, кому я так или иначе помог, отмечали в Варшаве мои именины, присылая цветы, превращавшие служебный кабинет в оранжерею, но 8-го октября 1943 года я получил не только розы, гвоздику и сирень. Другой подарок мне — по поручению нескольких друзей — передал X., бывший в мирное время активным деятелем состоявшего из польских граждан Русского Народного Объединения. Он принес книгу в ярком, парчевом переплете, поврежденном в одном углу. Раскрыв ее, я увидел прекрасные, цветные фотографии икон и фресок не известного мне храма, а, взглянув на заглавие, узнал, что получил напечатанное петроградской Экспедицией заготовления государственных бумаг описание Феодоровского собора в Царском Селе, сооруженного по почину императрицы Александры Феодоровны, часто в нем молившейся. При любых обстоятельствах эта редкая книга была бы ценным подарком, но больше, чем ее великолепие, меня поразила надпись на заглавной странице. Я увидел, что стал обладателем исторической реликвии. В день Рождества Христова, 25-го декабря 1916 года, за два месяца до событий, которые привели к крушению монархии, император и императрица подарили эту книгу со своими автографами доктору Владимиру Николаевичу Деревенко, который позже не покинул их в несчастьи.

x

Судебный следователь Н. А. Соколов, автор «Убийства Царской Семьи» (издательство «Слово», Берлин, 1925 г.), неоднократно называл этого придворного врача д-ром Деревенькой, но в справочнике «Весь Петроград» за 1915 год (издательство А. С. Суворина) значится живший тогда в одном из царскосельских дворцовых зданий лейб-хирург и приват-доцент Императорской военно-медицинской академии В. Н. Деревенко.

x

В Тобольск он прибыл не с царской семьей, а несколько позже — с преподававшим английский язык наследнику и великим княжнам Сиднеем Гиббсом и с фрейлиной, баронессой Софией Карловной Буксгевден. Там ему и Гиббсу было отказано в позволении разделить заключение узников ставшего тюрьмой бывшего губернаторского дома, но навещали они их беспрепятственно. Это дало врачу возможность продолжить возникшую задолго до революции заботу о страдавшем гемофилией отроке. Ради этой помощи, он расстался в 1917 году со своей семьей. Его сын — Коля — был не только сверстником, но и — в более счастливое время — товарищем детских игр отцовского пациента. Встречались они не только во дворце, но и у Коли на дому.

Когда сменивший летом 1915 года великого князя Николая Николаевича во главе вооруженных сил России император нашел желательным присутствие своего сына в могилевской ставке, В. Н. Деревенко ему тогда сопутствовал. В основанной на воспоминаниях Гиббса превосходной книге ("The House of Special Purpose", compiled from the papers of Charles Gibbes by J. C. Trewin, Stein and Day Publishers, New York, 1975) есть указание на то, что после возвращения из Могилева в Царское Село он преподавал другу своего сына естествознание. В той же книге упомянуты могилевские встречи царевича с Колей. После февральской революции юным сверстникам увидеться не пришлось, но позже, в Ипатьевском доме освобожденного от большевиков Екатеринбурга было найдено не отосланное письмо царского сына Коле, содержавшее,

в частности, привет его матери и бабушке. Оно, несомненно было написано незадолго до трагической смерти императора и его семьи, так как не было вручено в июне — за месяц до их гибели — доктору Деревенко, допущенному однажды к своему пациенту, у постели которого он увидел одного из его будущих убийц — Юровского.

Сам В. Н. Деревенко избежал смерти потому, что приехал из Тобольска в Екатеринбург в конце мая 1918 года не с царской семьей, а самостоятельно и был, вероятно, забыт цареубийцами так же как ими были забыты Гиббс и Жильяр.

x

Я, конечно, спросил X., как ему досталась такая книга? Он рассказал, что ее продала Татьяна Балабина, которую я знал, но только по-наслышке. Она появилась в Варшаве летом 1943 года с волною беженцев, уходивших из России при отступлении германских армий, но, в отличие от большинства этих новых эмигрантов, в помощи Русского Комитета не нуждалась, так как состояла на немецкой военной службе переводчицей при формировавшейся на польской территории казачьей части. По варшавским улицам за нею неотступно следовал, в виде охраны, пожилой, живописный казак в высокой папахе.

От беженцев с Кубани я услышал, что появилась она в Екатеринодаре незадолго до захвата города немцами, в числе эвакуированных туда петербуржцев. Говоря свободно по-немецки, она предложила свои услуги германской комендатуре, назвав себя дочерью покойного бывшего офицера Лейб-Гвардии Казачьего полка Филиппа Ивановича Балабина, которой — как я теперь знаю, она в действительности не была. Из Екатеринодара она с немцами попала в Екатеринослав, а оттуда в Варшаву. Все это, однако, не объясняло, как в ее руках оказалась принадлежавшая некогда д-ру Деревенко книга.

x

Один из моих польских друзей сразу заподозрил эту женщину в присвоении чужого имени. Он сообщил, что, вскоре после заключения Рижского договора, прекратившего в 1921 году войну Польши с большевиками, польским консулом в Петрограде был назначен бывший русский морской офицер Чехович. Там он познакомился с девушкой, называвшей себя Ольгой Балабиной, дочерью офицера, которому не удалось эмигрировать, и сошелся с ней. У Ольги была сводная сестра — Татьяна. Неопытный польский дипломат не отдавал себе, очевидно, отчета в том, насколько «социальное происхождение» сестер облегчило чекистам их превращение в покорное, готовое на все орудие.

Так или иначе, Ольга уехала с Чеховичем в Польшу, когда Москва обвинила его в шпионаже. В Варшаве их связь продолжалась, но в один не прекрасный день Балабина исчезла. Спохватившись, польская контр-разведка установила, что уехала она в Данциг — созданный Версальским договором вольный город в устье Вислы — и встретилась там с возвращавшимся в Москву из Берлина венгерским коммунистом Евгением Варгой, бывшим участником второго съезда Коминтерна и бывшим сотрудником советского торгпредства в Германии. С ним она поднялась на ожидавший Варгу в данцигском порту советский корабль. Мой польский собеседник полагал, что не Татьяна, а Ольга проникла в Екатеринодаре в германскую комендатуру, а затем в штаб казачьих формирований на оккупированной немцами польской территории, но заимствовала чужое имя, так как боялась, что в Варшаве могли сохраниться следы ее связи с Чеховичем и возвращения в Россию.

Это предположение оказалось верным. Теперь известно, что называвшая себя Татьяной и дочерью Ф. И. Балабина женщина была в действительности усыновленной им падчерицей Ольгой, родившейся от первого брака его жены, Ольги Карловны Василевской. С берегов Кубани на берег Вислы она прибыла с матерью и двумя юными дочерьми. С ними же, под предлогом служебной командировки, она уехала летом 1944 года из Варшавы в Прагу, где была опознана знавшими семью Балаби-

ных русскими эмигрантами. Ее дальнейший след затерялся, но, по достоверным данным, она вернулась в советскую Россию, где в 1976 году еще была жива.

х

Хранить редкую книгу в городе, которому угрожало советское наступление, я не захотел и отослал ее в вюртембергский Равенсбург, ставший после войны притягательным центром для многих русских варшавян. Оттуда, в 1949 году, книга проделала дальний путь из Европы в одну из южно-американских стран. Там, неожиданно, хранительница книги познакомилась с Николаем Владимировичем Деревенко, сыном лейб-хирурга — тем Колей, которого царевич Алексей не забыл даже в тягчайшие дни екатеринбургского заключения.

Это предрешило судьбу полученного мною в Варшаве подарка — он был возвращен законному владельцу. Оказалось, что в долгие и, казалось, беспросветные десятилетия советского владычества семья В. Н. Деревенко, рискуя многим, хранила царский подарок. Тщательно упакованный, он долго пролежал в земле. Этим объяснялось частичное повреждение переплета. Надежды его вновь увидеть было мало, но внезапно — в годы немецкого вторжения — это стало возможным. Неосторожно, наследники врача, поставившего свою жизнь на карту ради исполнения долга, показали книгу переводчице при германском генерале. Они не отказали ей в просьбе «одолжить книгу на час» якобы для того, чтобы показать ее коменданту Екатеринослава. Час был долгим. Понадобилось необыкновенное стечение обстоятельств, вернувших царский подарок тем, кому он — надо надеяться — напоминает подвиг их отца и деда.

САША

Памяти друга

Три часа в Могилеве-на-Днепре: высокий берег, белые церкви под месяцем и быстрые сумерки.
(Александр Блок, "Дневник", май 1908 г.)

На заре нашего столетия Могилев был небольшим губернским городом, в котором русская имперская стихия мирно уживалась со следами польского влияния и многочисленным еврейским населением. С крутого, правого берега реки раскрывалась широкая картина низкого левобережного предместья окаймляющих его полей и — вдали — темной полосы белорусского леса.

Город был древним. Археологи обнаружили в окрестностях следы первобытных поселений, существовавших задолго до Новгородской и Киевской Руси, но сохранившиеся памятники городского зодчества были не старше семнадцатого, а то и восемнадцатого века.

Над обрывом, спускавшимся к Днепру, стоял просторный особняк — губернаторский дом. В 1812 году в нем побывал завоеватель, французский маршал Даву. Наискосок, на той же площади, возвышалась сооруженная в 1678 году белая башня ратуши, а на двух, расходившихся от нее под острым углом главных улицах — Большой Садовой и Днепровском проспекте — украшали город пленившие Блока белые храмы: основанный в 1620 году Богоявленский Братский монастырь и

окруженная глухой стеной архиерейского двора, построенная в 1795 году, погребенным в ней позже епископом Георгием Конисским, семинарская Преображенская церковь.

Белым был и заложенный в 1780 году императрицей Екатериной Второй и австрийским императором Иосифом в память их могилевской встречи небольшой собор — приноровленное к нуждам православного богослужения подражание античным образцам — но ратуша и остальные церкви, только восьмиконечными крестами отличавшиеся от католических костелов, напоминали, что здесь некогда господствовала не Москва, а Польша.

X

Учеником первого класса Могилевской гимназии был в 1912 году мой сверстник, которого я — по некоторым соображениям — назову не подлинным именем, а Сашей Александровым. По отцу он был русским, но по матери — внуком швейцарского педагога, составителя распространенного тогда в России учебника французского языка. Навсегда обосновавшись в Могилеве, этот иностранец полностью не обрусел, но дочерей выдал за местных помещиков — русского и поляка.

Классом я был старше Саши и близкими друзьями мы в ту пору не были. В январе 1920 года мы случайно встретились в Одессе, накануне ее оставления Добровольческой армией. Он был вольноопределяющимся в отряде генерала Н. Э. Бредова, участвовал в его трудном зимнем походе от Черного моря до верховьев Днестра и был — как все бредовцы — интернирован в Польше и остался там политическим эмигрантом. Я же — как многие другие участники борьбы с поработившим Россию коммунизмом — был брошен 24-го января 1920 года в Одесском порту на произвол судьбы ответственным за эвакуацию, но позаботившимся только о себе генералом Н. Н. Шиллингом. Незнакомая еврейская семья спасла меня и сослуживца, прапорщика Кравченко, от верной гибели в занятом большевиками городе, но лишь в сентябре следующего года мне удалось перейти на Волыни границу, отделившую

Польшу от России и стать в Варшаве эмигрантом. Испытанная опасность и могилевские воспоминания превратили неожиданную встречу с Сашей в начало прочной дружбы.

X

Весной 1923 года, я по неопытности и неосторожному доверию к дореволюционным чинам и званиям, был вовлечен в тайное Монархическое Объединение России, утверждавшее, что оно возглавлено в Москве генералом А. М. Зайончковским, но оказавшееся чекистской провокацией, так называемой «легендой». Эту печальную страницу моей жизни я рассказал в книге «Трест», напечатанной издательством «Заря».

Резидентом М.О.Р. и, одновременно, представителем созданной генералом А. П. Кутеповым боевой организации непримиримых и активных противников коммунистической диктатуры был в Варшаве Ю. А. Артамонов. Он выезжал на советскую границу каждый раз, когда предстоял ее переход кутеповцами или участниками М.О.Р., но частые отлучки могли обратить на него нежелательное внимание. Поэтому, обслуживание пограничных «окон» нужно было поручить комулибо другому. Зная стремление Саши приобщиться к борьбе, я предложил ему эту опасную обязанность.

23-го декабря 1925 года он перевел из Польши в Россию бывшего члена Государственной Думы В. В. Шульгина, описавшего в книге, озаглавленной «Три столицы», свою якобы тайную, но в действительности состоявшуюся с ведома М. О. Р., то есть чекистов, поездку в Киев, Москву и Петроград. Сашу Александрова, который встретил его на польской границе, он, конечно, забыть не мог.

По замыслу Москвы, безопасность связанных с М.О.Р. эмигрантов должна была быть — до поры, до времени — полной, но даже О.Г.П.У. не могло все предусмотреть. Несколько лет советчины наложили на Россию отпечаток, отличавший ее от прошлого и легко становившийся ловушкой для тех, кто сталкивался с ним впервые, после Белграда, Парижа или Праги. Одновременно, подсоветское население научилось отличать заграничное от местного. Саша убедился в

этом в Минске, где переночевал у молодого «тайного монархиста», бывшего в действительности — как теперь известно — чекистом Е. И. Криницким.

По варшавской привычке, Саша утром захотел побриться. Он знал, что это можно сделать легко — в те годы расцвета «новой экономической политики» в столице советской Белоруссии еще существовали частные парикмахерские. Саша зашел в ближайшую. Пожилой хозяин усадил его в кресло, намылил щеки и вдруг, как бы невзначай, спросил:

— А вы давно из Польши?

Эмигранта, накануне тайно перешедшего границу, вопрос ошеломил. Стараясь не выдать волнения и не показаться удивленным, он ответил:

— Из Польши?.. Нет, я вчера приехал из Москвы...

Парикмахер промолчал и больше не сказал ни слова, но, расплачиваясь, Саша не выдержал и сам заговорил:

— Почему вам показалось, что я из Польши?

Владелец парикмахерской ответил не сразу, а затем, взглянув на незнакомого клиента, сказал медленно и веско:

— У нас так не стригут...

X

В апреле 1927 года нас постигла непоправимая беда. Люди, которым мы слепо верили — бывший генерал Н. М. Потапов и бывший действительный статский советник А. А. Якушев — оказались советскими агентами, если не прямо чекистами. Их «легенда» — Монархическое Объединение России — перестала существовать, а Кутеповской организации был нанесен жестокий удар. Слабым утешением было то, что Кутепов и польский генеральный штаб, поддерживавший с 1922 года оживленную связь с М.О.Р., не лишили меня доверия и что я даже вскоре стал, вместо Артамонова, резидентом боевой организации в Польше.

Сашу никто ни в чем упрекнуть не мог, но и делать ему, в создавшейся обстановке, было нечего — пограничные «окна» захлопнулись. Исходным плацдармом «боевых вылазок» кутеповцев в Россию стали Финляндия и Латвия. Обошлись

эти «походы» дорого — ко второй половине 1928 года боевые отряды Кутепова были, по существу, истреблены.

Моя причастность к какой-либо конспирации прекратилась навсегда в 1930 году, вскоре после похищения Кутепова чекистами, но часто, встречаясь с Сашей, я вспоминал с ним события, неразрывно нас связавшие.

Вспыхнувшая в 1939 году война отразилась на нашей дружбе — видеться мы стали реже. На меня, как председателя Русского Комитета в Варшаве, выпала, в тягчайшей обстановке гитлеровского террора и польского вооруженного сопротивления, нелегкая забота о русских эмигрантах и о многочисленных новых беженцах из России.

Не мне судить о том, как я с этой задачей справился, но никогда не забуду те июльские дни 1944 года, когда на правом берегу Вислы к городу приблизились советские войска, а на левом нужно было эвакуировать старых и новых варшавян в Словакию. Накануне моего отъезда — после этой эвакуации — я захотел взглянуть на составленные моей канцелярией списки тех нескольких тысяч человек, которые уже находились в относительной словацкой безопасности. Имен осаждавших меня в последние дни бывших обитателей Смоленска, Минска, Киева, Ростова и других русских городов я, конечно, не знал, но фамилии давних русских варшавян были мне известны. Я увидел, что Саши в этих списках нет.

Расстояние от дома, где я жил тогда, до той центральной части города, где Саша сохранил не пострадавшую в 1939 году от бомбардировки квартиру, было невелико. Моего друга я застал в выходившей окнами во двор большого дома темноватой столовой. Он сидел в кресле, хотел подняться, но не смог. «Он очень болен», шепнула его жена. Все же я спросил, как может он — при его прошлом — остаться в городе, который несомненно станет в недалеком будущем добычей коммунистов. Слабым голосом Саша ответил, что двинуться он не в силах и что его решение бесповоротно. Мы обнялись и расцеловались. Мы знали, что видимся в последний раз.

x

Крушение национал-социалистической Германии застало меня в беженском лагере на границе Австрии и Лихтенштейна. Кого там только не было? Преобладали русские эмигранты — старые и новые — но немало было и латышей, крымских татар и венгров.

Утром, 3-го мая 1945 года, мимо лагеря, в обход города Фельдкирха, промчались французские танки, а несколько позже у пограничных проволочных заграждений появились альпийские и марокканские стрелки. Дня через три военный губернатор Фельдкирха, капитан де Лестранж, назначил А. В. Мамонтова и меня директорами лагеря. Осенью французское командование одобрило мое предложение о создании Социальной Службы Перемещенных Лиц в Форарльберге и назначило меня представителем русских эмигрантов в этом учреждении. При господствовавшем тогда в Европе беззаконии, это не избавило меня от смертельной опасности.

Служившие во французской военной полиции в Германии коммунисты и их попутчики, привлеченные исходившим, к сожалению, из русской среды вымыслом о якобы вывезенном мною из Варшавы несметном богатстве, дважды пытались меня похитить. В сентябре 1945 года это им — под предлогом ареста — удалось, но моя семья подняла тревогу и французские офицеры меня освободили. В следующем году похитители, приехавшие из Германии в Фельдкирх, где я тогда жил, не застали меня дома и сами были арестованы в моей квартире. Несколько позже та же участь постигла их русского вдохновителя, а летом 1947 года французская зона в Германии была очищена от таких преступников настолько, что я смог безопасно переехать туда из Австрии.

Как я ни был дружен с Сашей, вспоминал я его — признаюсь — в это трудное время не часто, но его судьбу я неожиданно узнал. Однажды в лагере ко мне подошел один из немногих живших в нем поляков и сказал:

— Простите, господин Войцеховский... Вы ведь, кажется, варшавянин?.. Не хотите ли взглянуть на польскую газету?

Он передал мне измятые, побывавшие во многих руках страницы сероватой бумаги. Первая была заполнена устарев-

шими известиями, приправленными советской пропагандой. На второй не менее тенденциозные статьи удивили меня тем, как скоро польский язык воспринял с коммунистической фразеологией чужие слова и обороты, если можно так сказать — осоветился. Третья состояла из декретов и распоряжений новой власти и только из четвертой я узнал, что в Польше — в отличие от России — еще существует частная торговля. Правда, ее объявления состояли из двух-трех строк петита и сводились к адресу коммерческого предприятия, к фамилии его владельца и к названию товара, но Саша был упомянут в одном из них в связи с его довольно редкой отраслью торговли. Я, таким образом, узнал, что он благополучно пережил варшавское восстание, а затем и превращение Польши в прикрытую лживой вывеской советскую колонию. Ни одной другой польской коммунистической газеты я ни тогда, ни позже — до переселения в Америку — не увидел.

Его спасение от грозивших бед меня порадовало, но связаться с ним я не пытался. Помочь ему я ничем не мог, а повредить боялся. Толчком, напомнившим наше участие в М.О.Р., стало появившееся 18-го сентября 1961 года в просоветском «Русском Голосе» в Нью Иорке «Открытое письмо к русским эмигрантам», подписанное В. В. Шульгиным.

Я знал автора этого «Письма» с апреля 1918 года, когда из Могилева приехал в Киев с твердым намерением включиться в борьбу с большевиками. Бывший член Государственной Думы Савенко, у которого я побывал по совету знакомых киевлян, ничем мне не помог, но направил к Шульгину. В его доме на Караваевской улице начался мой новый путь — недолгое участие в созданной Шульгиным тайной антисоветской организации «Азбука».

Летом того же года я, с ведома генерала Ломновского, начальника тайного киевского центра Добровольческой Армии, стал чиновником для особых поручений гетманского министерства иностранных дел, но сносился с центром не через Шульгина, а через поручика А. Ф. Ступницкого, окончившего — лет за шесть до меня — Могилевскую гимназию.

В начале 1919 года я встретился с Шульгиным в занятой французами Одессе. Мы жили в одной и той же Лондонской гостинице. Он был шафером на свадьбе французского консула «с особыми полномочиями» Энно, который, в ноябре предшествовавшего года, тщетно пытался предотвратить падение Скоропадского и при котором я — по желанию штаба Добровольческой Армии, состоял переводчиком.

Летом 1920 года, в том же приморском городе, на этот раз захваченном большевиками, Союз Освобождения России, в котором я участвовал, узнал, что Шульгин скрывается в Одессе и добывает пропитание тем, что ходит по дворам с песенками и гитарой. Найти его мы не пытались — это было бы и для нас, и для него напрасным риском, тем более, что одним из офицеров, установивших с нами связь из Крыма, был его близкий родственник.

Гораздо позже — в Америке — кто-то мне рассказал, что в 1944 году Шульгин добровольно остался в занятой советскими войсками Югославии, был арестован и увезен в Москву. Об его дальнейшей судьбе никто ничего достоверного сказать не мог. Теперь известно, что он побывал на Лубянке и провел долгие годы в страшном Владимирском изоляторе, из которого его, как и других заключенных, освободила хрущевская «амнистия».

Письмо Шульгина в «Русском Голосе» было обращенным к эмигрантам советом признать, что в России — после возглавления власти Хрущевым — произошли неотвратимые перемены и поэтому пора отказаться от непримиримого, враждебного отношения к коммунизму и к советскому строю.

Российский Политический Комитет в Нью Иорке возразил, распространив «Три письма В. В. Шульгину», написанные проф. Д. Иванцовым, Б. К. Ганусовским и мною. Отвечая ставшему советским пропагандистом бывшему эмигранту на его восторженный отзыв о миролюбии Хрущева, я написал:

«Войны мы, русские эмигранты, не хотим, как не хочет войны весь свободный мир. Война, однако, уже ведется и ведется не нами. В Азии и в Африке, в Европе и, в последнее время, в Америке — на Кубе — война ведется коммуни-

стами и ее цель провозглашается открыто: распространение коммунизма по всей земле, та всемирная коммунистическая революция, которую начал Ленин, продолжил Сталин и ныне продолжает Хрущев».

«Уничтожение свободы слова — было сказано в другой части моего ответа Шульгину — преступление коммунистов, но страшнее другое — уничтожение свободы совести. Кто сосчитает его жертвы, кто укажет точное число новых мучеников русской Церкви? Их обильной кровью орошена вся русская земля».

Я воздержался от резких, оскорбительных выпадов, понимая, что человек, попавший в советские тиски, мог быть сломлен постигшей его участью, но я напомнил то, что в 1926 году было им написано в предисловии к «Трем столицам»:

«Я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи большевики не разыграли со мной того же самого, что они проделали с Борисом Савинковым, т. е. чтобы не опозорили моего имени прежде, чем тем или иным способом меня прикончить. Поэтому, в письме на имя генерала Артифексова, я заявлял, что, хотя я еду в Россию по личным мотивам и политики делать не собираюсь, но я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлениям о моем «раскаянии» или с ними «примирении» прошу не придавать никакой веры».

К этой цитате я прибавил: «Не знаю, как коммунисты заставили Вас отречься от непримиримости, отречься от всего, что было столько лет смыслом и содержанием Вашей жизни, но знаю, что под этим отречением, под Вашим «открытым письмом» к русским эмигрантам не только Ваша подпись, но и Ваши слова:

— Каким бы то ни было их заявлениям о моем раскаянии или с ними примирении прошу не придавать никакой веры».

Шульгин откликнулся — 7-го сентября 1962 года в московских «Известиях» появилась его статья, озаглавленная «Возвращение Одиссея». Она была описанием его, состоявшегося под чьим-то бдительным оком путешествия по Рос-

сии, во время которого он побывал в Киеве, на Караваевской улице, а на Волыни увидел свое бывшее имение — Курганы. Он перечислил в этой статье некоторых известных русских эмигрантов, которых назвал «бесноватыми» за то, что они призывают западный мир к войне с захватившими власть в России коммунистами, но меня упомянул с оговоркой: «Нет, Войцеховский не бесноватый и не потому, что в своем письме он делает мне некоторые комплименты, а по другим основаниям, но, между прочим, он в одном отношении безусловно не прав... С. Л. Войцеховский должен прибавить, что есть русская эмиграция, которая открыто и даже исступленно, упиваясь своим собственным безумием, зовет термоядерные бомбы упасть с неба на головы человечества. Может быть С. Л. Войцеховский просто этих статей не читал? В таком случае, мой совет их прочесть и отгородиться от этой части русской эмиграции решительно и твердо. Но сейчас я вижу С. Л. Войцеховского среди поджигателей войны, так как он совместно с Б. К. Ганусовским выступил с открытым письмом и тем самым как бы солидаризировался с этого рода мыслителями».

Полемика с человеком несвободным была бы бесплодной. Я промолчал, хотя сам себя «поджигателем войны» никак не считал. Шульгин, однако, вызвал во мне другой вопрос: прочитал ли Саша его статью в легко доступных в Варшаве «Известиях» и узнал ли из нее, что я еще существую? На ответ я не надеялся, но получил его неожиданно и скоро. Месяца через три, вечером, в моей квартире раздался звонок телефона. Знакомый, бывший варшавянин, взволнованно сказал:

— Простите, Сергей Львович, что беспокою поздно, но должен предостеречь... Кто-то, только что приехавший из Варшавы, хочет получить Ваш адрес...

Он рассказал, что в поезде метро с ним заговорили единственные пассажиры вагона — господин и дама — спросившие, где нужно пересесть, чтобы попасть в другую, далекую часть Нью Иорка. Услышав, что между собой они говорят по-польски, мой знакомый ответил на том же языке. Когда он назвал себя русским варшавянином, неизвестный поляк воскликнул:

— Да ведь и моя жена тоже русская и тоже варшавянка!

Она присоединилась к разговору и спросила, много ли в Нью Иорке русских бывших жителей Варшавы? Услышав мое имя, она не сразу поверила:

— Как, разве Войцеховский не убит?.. В Польше мы его считали мертвым?.. Дайте, пожалуйста, его адрес...

Настойчивость, с которой они эту просьбу повторили, показалась моему знакомому подозрительной тем более, что — по их словам — поляк и его русская жена только за три дня до случайной встречи в метро прилетели в Америку из Польши. Адрес он им не сообщил, но на следующий день они появились в Толстовском Фонде и просьбу повторили. Им было сказано, что Фонд ничьих адресов не сообщает, но может — если они пожелают — отослать мне их письмо. Они немедленно этим предложением воспользовались.

Из письма я узнал, что дама, считавшая меня убитым — бывшая жена варшавского русского купца, вышедшая — вторым браком — за поляка. Она и ее муж хотели посоветоваться со мной о возможности получения ими права на постоянное пребывание в Соединенных Штатах. Для ответа был указан номер телефона. Вспомнив, что первый муж этой варшавянки был до войны компаньоном Саши в общем коммерческом деле, я пригласил их к себе и, два дня спустя, услышал от них много мне неизвестного, трагического и забавного о подсоветской Польше. Спросил я их, конечно, и о Саше и — к великому горю — узнал, что в 1948 году он, на небольшой станции в окрестностях Варшавы, пытался вскочить в отходивший, переполненный поезд, поскользнулся, попал под колеса и был убит.

Я не предполагал — после этого известия — что когда-либо еще раз услышу имя Саши от человека, его не знавшего, но случилось именно это. В марте 1964 года в клубе Колумбийского университета состоялся завтрак, на который один из профессоров пригласил нескольких эмигрантов для разговора о русской зарубежной печати. Одним из приглашенных был Б. В. Сергиевский, но участники этой встречи не знали, успеет ли он во-время прилететь из Парижа. За стол сели без

него, но к концу завтрака он появился и смог высказать свое мнение в состоявшемся за чашкой кофе разговоре. Гости стали расходиться, когда он подошел ко мне и сказал:

— Вот, чуть не забыл... Русский парижанин хотел что-то узнать о вашем знакомом...

На листке из блокнота, который Сергиевский тут же мне вручил, было им записано:

— Спросить Сергея Львовича, когда и где он в последний раз видел Александра Владимировича...

После имени и отчества была указана фамилия Саши. Я был этим поражен. Сергиевский это заметил:

— В чем дело?.. Что вас взволновало?

—Здесь — ответил я — предпочитаю промолчать... Можно ли вас увидеть завтра?

— Конечно, в любое время...

На следующий же день, встретившись с Сергиевским, я спросил, кто и где заговорил с ним о Саше. «Прилетел я — рассказал он — в Париж... Остановился, как всегда, у Ритца... Появились, как всегда, просители, домогавшиеся денежных пособий... Почти всех я знал по прошлым приездам, но К., назвавшего себя первопоходником, корниловцем и галлиполийцем, увидел впервые...

Оказалось, что он — не проситель, в обычном смысле слова.

— Вы, кажется — сказал он мне — знаете Сергея Львовича Войцеховского?

— Да — ответил я — мы единомышленники и друзья.

Он рассыпался в похвалах вашему антикоммунизму, а затем обратился с просьбой, которую я тогда же записал... Почему она вас удивила?».

Пришлось объяснить, кем был Саша. Я упомянул его причастность к М. О. Р. и помощь, оказанную Шульгину при переходах польско-советской границы в обе стороны. Я сказал, что русский парижанин не мог знать Саши, так как в Польше не жил, а Саша во Франции не бывал. Единственным возможным объяснением попытки установить его судьбу я

назвал желание К.Г.Б. пополнить его архив недостающими сведениями.

Я высказал предположение, что до выступления Шульгина в роли советского пропагандиста его биография была еще раз тщательно проверена. Описанная им в «Трех столицах» поездка в Россию не была забыта и, в связи с ней, должно было всплыть имя Саши, как проводника, доставившего Шульгина из Варшавы на границу. Именно тогда могло выясниться, что судьба Саши после войны советским «органам государственной безопасности» не известна. Не скончайся он в 1948 году, они, несомненно, установили бы, что он мирно занимается в Варшаве торговлей, но смерть на загородной железнодорожной станции, вблизи которой его, вероятно, похоронили, осталась не отмеченной в списках населения польской столицы. Саша пропал без вести и в цепочке имен, связанных с жизнью Шульгина, не хватало звена. Поэтому в Москве было решено воспользоваться моими дружескими отношениями с Сергиевским, чтобы задать ему вопрос, который не мог быть прямо поставлен мне.

11*

КЕРЕНСКИЙ О МАСОНАХ

«Философский климат века; некоторые оккультные влияния, о которых можно было бы говорить бесконечно; вожделения тех, кто должен был поддержать монархию, а не способствовать ее гибели, допустили эту революцию, в которой случай также сыграл свою роль».

Наш современник, французский историк герцог де Кастри, так перечислил причины, облегчившие победу революции во Франции. В книге, изданной в Париже в 1959 году и озаглавленной «Агония королевской власти», он же указал на то, что «оккультные влияния» состояли в первенствующем участии масонов в революционных событиях. «Большинство молодых французских дворян, служивших в войсках Вашингтона — написал он — стало членами масонских лож и этим укрепило дружбу с американскими соратниками. По возвращении во Францию, принадлежность к масонству связала их с французскими ложами и с философскими обществами, цитаделью которых были те же ложи. Эта связь оказала глубокое влияние на дворян, состоявших на военной службе. Они легко позволили убедить себя в том, что безусловное подчинение приказам королевской власти — пережиток прошлого и что офицеры, действительно просвещенные, имеют право судить об обстоятельствах, при которых такое подчинение обязательно. Итог этим мнениям наглядно подведен в небольшой книге, изданной ложей «Объединение американцев». Особенно значительна одна из глав, которую ее автор, адвокат и масон Босквильон, назвал «Национальным кодексом». Эта глава касается «пределов повиновения военнослужащих королю» и содержит обращенный к французским сол-

датам и офицерам призыв «не обращать оружия против народа».

Эти цитаты из книги де Кастри показывают, что масонские корни революции, «казнившей» короля и королеву и запятнавшей себя кровавым разгулом необузданного террора, стали теперь во Франции предметом научного изучения. Постепенно, внимание историков обращается и на далеко еще не разоблаченное до конца участие масонов в свержении российской монархии.

х

С. П. Мельгунов посвятил этому участию одну из глав своего труда «На путях к дворцовому перевороту», изданного в Париже, в 1931 году. Говоря о «заговорщицких действиях», предшествовавших в России крушению монархии, он написал: «На первый взгляд, отдельные планы дворцового переворота, как будто, и совсем не связаны между собою. Два центральных проекта — львовский и гучковский — непосредственно вышедшие из среды общественности, по-видимому развиваются вне зависимости друг от друга и только в словах Милюкова можно найти намек на некоторое взаимоотношение, установившееся между существовавшими «кружками» через посредство отдельных лиц. Милюков никогда не раскрывает скобки... Постараемся расшифровать связь, которая существовала, по крайней мере, между некоторыми «кружками». Читатель, может быть, будет удивлен, когда я скажу, что эта связь была, преимущественно, по масонской линии. В широких общественных и литературных кругах... с недоверием относятся к факту существования масонских организаций в дореволюционной России. Загадочное явление казалось мифом и легендой и, вдруг, это оказывается действительностью».

Признав, таким образом, существование масонских лож в России, Мельгунов рассказал: «Официальное русское масонство возродилось в начале девятисотых годов и связано с французскими ложами. В 1908 году в Россию приезжали два высокопоставленных «брата» и возвели в соответствующие

степени и градусы находившегося в то время в тюрьме по делу газеты «Радикал» присяжного поверенного Маргулиеса. Возрожденное масонство было нелегально в России, однако имена Ковалевского, де Роберти, Гамбарова, Вырубова, Амфитеатрова, Кедрина, членов французской ложи «Космос» были известны, как имена масонские, довольно широкому кругу».

По мнению Мельгунова, эта известность не свидетельствовала о значении названных лиц в масонских ложах. К тем, кто, как например московский психиатр Баженов, не скрывал принадлежности к масонству, Мельгунов отнесся иронически. «Столпы русского масонства», собиравшиеся в петербургской ложе «Северная Звезда», тоже не были его действительными возглавителями. В настоящих масонских собраниях «вели дело так конспиративно, что ничего не записывалось в трафаретные протоколы, а имена членов знали лишь «оратор» ложи М. С. Маргулиес и ее секретарь, князь Бебутов».

С. П. Мельгунов указал на недостоверность сведений о русском масонстве, сообщеных в эмиграции «бывшим братом Амфитеатровым, возведенным, неизвестно за какие заслуги, в мастеры стула». В его изображении — по мнению Мельгунова — русское масонство приобретает какой-то бутафорский характер. Между тем, ничего бутафорского в масонской подготовке революции не было. «Политические замыслы русских масонов — констатировал Мельгунов — были более глубоки... Через масонов шла организация общественного мнения и создавалась некоторая политическая солидарность».

Стремлением к «политической солидарности» масоны не ограничивались. Их замыслы шли дальше и не останавливались перед кровопролитием и цареубийством. «Очевидец рассказал мне, например — сказано в книге Мельгунова — о приеме в масонский клан командира гвардейского Финляндского полка Теплова. Одним из братьев ему был задан вопрос о царе. Теплов ответил:

— Убью, если велено будет».

Распространение масонства в России до возникшей в 1914 году трагической войны описано Мельгуновым так: «Были

инсталированы ложи не только в Петербурге и Москве, но и в Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде. Была в Петербурге военная ложа, собиравшаяся, между прочим, во дворце А. А. Орлова-Давыдова. Говорить, однако, о каких-то тридцати тысячах масонов не приходится. Это были маленькие кружки».

X

За несколько лет до войны — сообщил Мельгунов — масонская конспирация была частично разоблачена полицией и «может быть поэтому братья решили уснуть в 1911 году». На языке масонов сном называется временное прекращение деятельности лож.

В 1915 году — вероятно, вследствие неудач, понесенных тогда русской армией — «явилась мысль о возрождении масонских организаций». Их цель «была чисто политическая — под внешним масонским флагом хотели достигнуть того политического объединения, которое никогда не давалось русской общественности». Это объединение « должно было носить характер левый». Одним из вдохновителей «пробуждения» русских лож был член Государственной Думы Н. В. Некрасов. Оценивая последствия этого возобновления масонской активности в России, Мельгунов написал: «Мне кажется, что масонская ячейка и была связующим как бы звеном между отдельными группами заговорщиков — той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями».

Это было сказано не монархистом — противником революции — но историком, который, не будучи масоном, долго принадлежал к русской либеральной «общественности». Ответственность масонской «закулисной дирижерской палочки» за кровавый «февраль» и за порожденный им, еще более кровавый «октябрь» таким образом установлена. С. П. Мельгунов проявил, однако, крайнюю сдержанность в определении степени индивидуальной ответственности лиц, взявших «дирижерскую палочку» в руки. Кроме Н. В. Некрасова, он назвал немногих и, отчасти, второстепенных участников русских лож: В. П. Обнинского, Н. И. Астрова, Н. Н. Баженова, С. Л.

Балавинского, И. Н. Ефремова, М. И. Терещенко, А. И. Гучкова, князя Г. Е. Львова и А. И. Хатисова, побывавшего в Тифлисе у великого князя Николая Николаевича для его привлечения к замышлявшемуся масонами «дворцовому перевороту». В. А. Маклаков, не скрывавший после революции «своего участия в более ранних масонских ложах», рассказал С. П. Мельгунову, что, узнав в 1915 году, о возникновении в России новых лож, он «не отказался, как посвященный в соответствующие степени», от формального открытия этих лож, но оно до революции не состоялось.

А. Ф. Керенский был — по мнению С. П. Мельгунова — деятельным участником масонского заговора, но, даже став эмигрантом, тщательно скрывал свою принадлежность к масонству. В своих первых воспоминаниях, изданных на французском языке до появления книги Мельгунова, он назвал заговорщиков «смешанной группой, составленной из представителей всех левых элементов Думы».

Мельгунов ему не поверил. «Мне кажется — написал он — что А. Ф. Керенский скорее свои масонские связи склонен выдавать за левое объединение». Проницательный историк не ошибся — в 1965 году Керенскому пришлось сознаться в том, что он был и остался масоном. Это позднее признание было вызвано книгой Г. Аронсона «Россия накануне революции», напечатанной в Нью Иорке в 1962 году.

X

Ее автор не отрицал ни существования русских масонов, ни их участия в свержении монархии. «Существовала в России — сообщил он — быть может немногочисленная, но политически влиятельная организация, представители которой играли весьма видную роль в переломные годы русской истории, в 1915-1917 годы, в эпоху первой мировой войны и февральско-мартовской революции. Особенностью этой организации была, прежде всего, ее засекреченность, доходящая до того, что спустя много десятилетий ни один из участников не разгласил ни тайны ее состава, ни тайны ее деятельности. Другой отличительной чертой этой политической организации

является пестрота, разномастность, разношерстность деятелей, которых она объединяла — людей, принадлежавших к разным, порой враждующим между собой партиям и группам, но стремившимся, несомненно, создать активный политический центр не межпартийного, а надпартийного характера. Таковы были русские масоны».

Для иллюстрации «пестроты» масонской организации в дореволюционной России Аронсон назвал людей, которые «на первый взгляд кажутся совершенно неукладывающимися в одну организацию», но «на деле, однако, тесно связаны между собой на политическом поприще» — князя Г. Е. Львова и А. Ф. Керенского, Н. В. Некрасова и Н. С. Чхеидзе, В. А. Маклакова и Е. Д. Кускову, великого князя Николая Михайловича и Н. Д. Соколова (автора пресловутого «приказа № 1»), А. И. Коновалова и А. И. Браудо, М. И. Терещенко и С. Н. Прокоповича. Он, кроме того, упомянул директора департамента полиции А. А. Лопухина, который, на квартире адвоката Е. С. Кальмановича, встретился с сотрудником столичной Публичной библиотеки А. И. Браудо и «выдал эсерам государственную тайну о провокаторской роли Азефа», сделав это «только по масонской линии».

x

Книга Г. Аронсона — по словам ее автора — была написана для того, чтобы «хоть в сжатой форме осветить вопрос об участии евреев в масонском движении и о русских масонах в эмиграции». Первой темы он коснулся вскользь, ограничившись утверждением, что «все, время от времени получающие распространение толки о жидо-масонстве являются сплошной выдумкой черносотенцев, сдобренной тайной полицией», но к тому что было до него известно о второй, прибавил кое-что новое.

Отметив, в частности, что в двадцатые годы во Франции возникли русские ложи, он написал, что «из их участников наиболее известны Н. Д. Авксентьев, М. А. Осоргин, М. А. Алданов и Ю. Делевский, а затем прибавил: «В Нью Иорке существует в течение ряда лет ложа русских масонов, которая

не только не законспирировала факта своего существования, но, напротив, опубликовала небольшую книгу, посвященную памяти Н. Д. Авксентьева и М. А. Осоргина. После смерти Н. Д. Авксентьева его сменил А. В. Давыдов на посту главы русской масонской ложи в Нью Иорке, как будто легализировав ложу под названием Русского гуманитарно-философского общества. Сам Давыдов был человеком умеренных взглядов, до революции имел звание камер-юнкера, а в Париже, в течение долгих лет, был администратором газеты «Возрождение».

К этим словам Г. Аронсона можно прибавить, что Давыдов совмещал свою принадлежность к масонству с формальным православием. После его кончины торжественное отпевание состоялось в одном из храмов американской митрополии. Другой масон — А. Ф. Керенский — принадлежал к той же церковной юрисдикции, но, кажется, после получения ею автокефалии от московской патриархии, остался членом прихода, перешедшего в Церковь зарубежную.

x

Изданию книги Аронсона предшествовали — в октябре 1959 года — его газетные статьи о «масонах в русской политике». Они побудили Л. О. Дан и Н. В. Вольского сообщить ему письма, полученные ими от Е. Д. Кусковой. Не отрицая, что в России, до революции, существовали масонские ложи, она написала, что русское масонство «началось после гибели революции 1905 года» и «ничего общего с масонством заграничным не имеет». Она прибавила, что «посвящение состояло лишь в клятве — молчание абсолютное», а выход из ложи допускался «опять с клятвой — никогда, никому».

«Я знаю — рассказала Кускова — двух виднейших большевиков, принадлежавших к движению. Когда произошла октябрьская революция, мы с С. П. (Прокоповичем) были уверены, что все будет вскрыто. Партия ведь не терпит тайн членов. Ничего подобного. Уверен, что эти виднейшие большевики тайну соблюли».

В январе 1957 года состоялась в Европе встреча Е. Д. Кусковой с А. Ф. Керенским. «Надо было обсудить — сообщила она своим корреспондентам — как поступить с упоминанием Милюкова той организации, о которой я Вам говорила... Он (Керенский) очень одобрил то, что я сделала, записав для архива и закрепостив на 30 лет. Он сделает то же самое, но, кроме того, в своей книге, которую он пишет, ответит на туманность Милюкова. Ответит лично за себя и от себя, не называя больше ни одного имени. Все это теперь обдумано и оба согласились о форме, в какой должно быть сделано осведомление».

Месяц спустя, в другом письме, Кускова коснулась того же вопроса. «Керенский — написала она — должен сделать в своей книге заявление, что с созданием Временного Правительства эта организация прекратила свои действия. Не было ни одного Конвента и никакие «давления» на решения Временного Правительства эта организация не оказывала. Влияние оставалось разве в личных связях, но ведь более половины членов Временного Правительства к этой организации не принадлежали».

Так Керенский и Кускова сговорились об отрицании преобладающего влияния лож на первое революционное правительство России. По тем или иным соображениям Аронсон этот сговор разоблачил и этим заставил Керенского признаться в принадлежности к масонству.

x

Книга, которую он подготовлял с 1957 года, была издана в Нью Иорке, на английском языке, в конце 1965 года. Она озаглавлена: «Россия и поворотный пункт истории».

«Первоначально — сказано в ней — я не предполагал писать о русском масонстве, но некоторые «разоблачения», появившиеся в последние годы в русской прессе, приписали падение монархии и создание Временного Правительства тайной деятельности лож. Я считаю себя обязанным опровергнуть абсурдную интерпретацию больших и трагических событий, которые привели к самому значительному поворотному пунк-

ту русской истории. Ради исторической истины, я вкратце затрону эту тему». Это заявление он сопроводил примечанием, в котором написал, что «говоря о политическом составе, работе и целях масонского общества, членом которого я состоял, должен подчеркнуть, что я связан торжественной присягой, принесенной мною при вступлении в это общество и обязавшей меня не называть имен его членов».

Из дальнейших слов Керенского следует, что упомянутое им масонское общество не прервало своего существования в России ни после февральской, ни даже после октябрьской революции. Более того, после захвата власти большевиками оно могло давать указания своим членам, не исключая бывшего возглавителя временного правительства. «Когда я летом 1918 года покидал Россию — сообщил он — мне было дано указание раскрыть сущность нашей работы, не называя ни одного имени, в том случае, если в печати появится искаженная версия, и этим восстановить правдивые факты».

Сорок семь лет спустя он счел себя обязанным исполнить это указание по побуждениям, упомянутым в его книге. «Ныне — написал он в 1965 году — настало время это сделать потому,что известная политическая деятельница Е. Д. Кускова, давно принадлежавшая к масонству, назвала мое имя в секретных письмах к двум своим друзьям и сообщила другому политическому деятелю мою принадлежность к ложе».

«Мне было предложено — рассказал затем Керенский — вступить в ложу в 1912 году, вскоре после моего избрания в Думу. Серьезно обдумав предложение, я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял предложение... Наше общество не было формальной масонской организацией. Во-первых, оно было необыкновенным в том отношении, что порвало связь со всеми иностранными обществами и принимало женщин в свой состав. Затем, сложный ритуал и масонская система степеней были отменены. Поддерживалась только та, наиболее необходимая внутренняя дисциплина, которая обеспечивала моральные качества членов и их умение хранить тайну. Не существовало письменных документов и списков членов».

Ложа, к которой принадлежал Кернеский, была, очевидно, тщательно законспирирована потому, что в циркулярах департамента полиции, которые теперь хранятся в архиве Гуверовского института Станфордского университета в Калифорнии, эта ложа не упомянута. В этом архиве Керенский обнаружил только один циркуляр, в котором названа русская масонская ложа — Общество Розенкрейцеров. Остальным русским масонам это общество — по словам Керенского — было известно. Называли они его, между собой, «организацией Варвары Овчинниковой». Из него возникла позже другая ложа, которую возглавил великий князь Александр Михайлович.

«Местная ложа — сказано в воспоминаниях Керенского — была основной ячейкой нашего общества. Кроме территориальных лож, Верховный Совет имел право учредить особые ложи. Так, например, существовала ложа в Думе, ложа писателей и проч. Со дня своего основания каждая ложа становилась автономной единицей. Другие органы не имели права вмешиваться в ее работу и в избрание членов. На годичных конвентах делегаты лож обсуждали их деятельность и избирали членов Верховного Совета. Генеральный секретарь этого Совета представлял конвентам доклад о деятельности, анализ политического положения и предлагал программу деятельности на следующий год. Такие жизненные вопросы, как проблема национальностей, образ правления и земельная реформа, вызывали иногда резкие столкновения между членами одной и той же партии, но мы никогда не допускали нарушения нашей солидарности этими разногласиями». Достойно внимания то, что часть масонской терминологии дореволюционных лет — «Верховный Совет», «генеральный секретарь» — совпадали с терминологией поработивших Россию коммунистов.

Признание А. Ф. Керенского в его принадлежности к масонству, конечно, не лишено значения для истории революции в России, но оно невелико — в его масонстве и так никто не сомневался. Интереснее то, что он стал членом ложи в 1912 году. На основании исследований С. П. Мельгунова при-

нято было думать, что русские масоны прервали свою деятельность в год убийства П. А. Столыпина и возобновили ее лишь во втором году войны с Германией. Дата вступления Керенского в ложу это мнение опровергает. Она указывает, что тайная деятельность масонских лож в России не прервалась в 1911 году, но продолжалась непрерывно.

ГОЛОЩЕКИН

В 1964 году московским издательством политической литературы была напечатана книга «Комиссары». Она содержала двадцать пять жизнеописаний «глашатаев ленинской правды», «рыцарей без страха и упрека», «уполномоченных октябрьской революции», как назвал партийных комиссаров автор предисловия Александр Сурков. Один из этих очерков был посвящен человеку, который в книге назван Филиппом Исаевичем Голощекиным. Как многие другие «старые большевики» он был расстрелян по приказанию Сталина.

x

Прямым участником убийства императора Николая Александровича и его семьи был Яков Юровский. Это установил судебный следователь Николай Алексеевич Соколов, расследовавший это преступление. Он же, на основании допроса родственников Юровского, сообщил о нем следующее:

«Яков Михайлович Юровский, мещанин города Каинска, Томской губернии, еврей, родился в 1878 году... Его дед, Ицка, проживал некогда в Полтавской губернии. Сын последнего — Хаим, отец Юровского — был простой уголовный преступник. Он совершил кражу и был сослан в Сибирь судебной властью. Яков Юровский получил весьма малое образование. Он учился в Томске, в еврейской школе при синагоге, и курса не кончил. Мальчиком поступил учеником к часовщику, еврею Перману, а в 1891-1892 г.г. открыл в Томске свою мастерскую. В 1904 году он женился на еврейке Мане Янкелевой. В годы первой смуты он уехал почему-то в Германию и год жил в Берлине. Там он изменил вере отцов

и принял лютеранство. Из Берлина он сначала проехал на юг и проживал, видимо, в Екатеринодаре. Затем он вернулся в Томск и открыл здесь часовой магазин. Можно думать, что заграничная поездка дала ему некоторые средства. Его брат, Лейба, говорит: «Он уже был богат. Его товар в магазине стоил по тому времени тысяч десять». Это же время было началом его революционной работы. Он был привлечен к дознанию в томском жандармском управлении и выслан в Екатеринбург. Это произошло в 1912 году. Здесь Юровский открыл фотографию и занимался этим делом до войны. В войну он был призван, как солдат, и состоял в 698-й Пермской пехотной дружине. Ему удалось устроиться в фельдшерскую школу. Он кончил ее, получил звание ротного фельдшера и работал в одном из екатеринбургских лазаретов... После переворота 1917 года, он — большевик с первых же дней. Озлобленный демагог, он — участник митингов и, в солдатской шинели, натравливает солдатские массы на офицеров. После большевицкого переворота, Юровский — член Уральского областного совета и областной комиссар юстиции».

Кроме сведений об этом цареубийце, книга Н. А. Соколова «Убийство Царской Семьи» содержит две фотографии Юровского и его родственников. На одном из снимков, сделанном, вероятно, до 1917 года, кроме родителей и жены будущего комиссара, изображен его тогда малолетний сын, который — по словам самозванца Голеневского — жил во второй половине шестидесятых годов в Нью Иорке.

X

«Судьба Царской Семьи — сказано в 25-й главе книги Н. А. Соколова — была решена не в Екатеринбурге, а в Москве... Чекист Шая Голощекин играл на Урале гораздо большую роль, чем Яков Юровский. Один из старых членов коммунистической партии, он был связан личными отношениями с председателем ЦИК-а Яковом Свердловым. Когда Юровский внедрился в дом Ипатьева, Шая Голощекин отсутствовал из Екатеринбурга. Он в это время находился в Москве и

жил на квартире у Свердлова... Из целого ряда документов точно видно, что 8-го июля Шая находился еще в Москве и должен был там пробыть еще некоторое время. Он мог возвратиться в Екатеринбург и действительно возвратился из Москвы около 14-го июля. Его возвращение в Екатеринбург и ряд мер, коими Юровский подготовлял убийство Царской Семьи, как раз совпадают по времени. Шая Голощекин был на руднике, когда там уничтожали трупы».

X

Голощекин был послан на Урал Свердловым — это сказано в его биографии, включенной в книгу «Комиссары». В ней же рассказано, что «в совместной революционной работе, тюрьмах и ссылках родилась и окрепла большая дружба, связывавшая Голощекина и Свердлова». Таким образом, установленная Н. А. Соколовым близость двух главных виновников страшного преступления подтверждена самими большевиками.

«Филипп Исаевич Голощекин родился — по словам его советского биографа — в 1876 году, в городе Невеле, Витебской губернии, в семье мелкого подрядчика. В 1903 году, после окончания зубоврачебной школы, он переехал в Петербург. Еще раньше, в 1900 году, он познакомился с нелегальной марксистской литературой и сделал выбор своего жизненного пути. В столице, некоторое время, Филипп Исаевич работал зубным врачем, но бурный 1905 год заставил навсегда оставить эту профессию. Первая русская революция сделала Ф. И. Голощекина профессиональным революционером... В самый тяжкий час революции 1905 года Филипп Голощекин стал членом петербургского комитета партии... В 1906 году петербургский комитет РСДРП был арестован. По делу 19-ти Филиппа Исаевича приговорили к двум с половиной годам заключения в крепости, но приговор удалось кассировать и Голощекина освободили под залог... Только-что успел Голощекин выйти из-под ареста, как его уже видели среди рабочих Невского района, где снова зазвучал голос страстного революционера. После нового ареста его заключили в тюрьму,

где он томился до июня 1909 года, а 13-го декабря того же года его вновь арестовывают на заседании московского комитета партии... После пятимесячного тюремного заключения, Голощекина сослали в Нарымский край, но и тут неутомимый революционер не успокоился... Вскоре он создал в ссылке марксистский кружок, который просуществовал, к сожалению, недолго. Голощекина снова арестовали и заключили в томскую тюрьму».

«В 1911 году — рассказано затем в той же биографии — Голощекин бежит из ссылки и нелегально появляется в Петербурге. В документах департамента полиции это событие оставило свой след: «Голощекин 31-го того же марта выслан в указанную местность этапным порядком, откуда осенью минувшего 1911 года самовольно скрылся».

Его судьба после бегства описана советским биографом так: «По заданию центрального комитета партии Голощекин восстанавливает московскую большевистскую организацию. Его посылают на пражскую конференцию, откуда он возвращается в Москву членом ЦК партии большевиков, но тут его ждет новый арест и ссылка в Тобольскую губернию». Эта ссылка была, очевидно, недолгой, так как в 1913 году Голощекин впервые появился на Урале, где был еще раз арестован и сослан в Туруханский край.

«Как только грянула февральская революция, Филипп Исаевич вновь появился в Екатеринбурге... На второй съезд советов Ф. И. Голощекин прибыл в Петроград за несколько дней до октябрьского вооруженного восстания... По предложению Я. М. Свердлова его вводят в состав военно-революционного комитета... Во время октябрьских дней, когда власть перешла в руки военно-революционного комитета, где Ф. И. Голощекин ведал вопросами приема людей по всем военным и гражданским делам, посетители шли к нему нескончаемым потоком... Голощекину приходилось ежедневно разговаривать с Лениным... 26-го января 1918 года третий съезд советов Урала постановил организовать областной военный комиссариат. Облвоенкомом съезд избрал Ф. И. Голощекина».

x

Сведения Н. А. Соколова о Голощекине не во всем совпадают с его советской биографией. «Шая Исакович Голощекин, мещанин города Невеля, Витебской губернии, еврей — сказано в книге Соколова — родился в 1876 году. Его партийная кличка — Филипп. Он кончил гимназию в Витебске и зубоврачебную школу в Риге. В 1906 году он был арестован, как большевик-пропагандист, в пределах Петроградской губернии и в 1907 году осужден петроградской судебной палатой на 2 года крепости. Едва отбыв наказание, он тотчас же возобновил свою революционную деятельность в Москве и играл большую роль в московском комитете партии, но вскоре был арестован и сослан в Нарымский край. В 1911 году он бежал из ссылки за границу. Там в это время шла большая борьба в рядах большевицких фракций. С Лениным боролось левое крыло большевиков, обвиняя его в узурпаторских наклонностях и в измене принципам чистого большевизма. Правое крыло стремилось к соглашению с меньшевиками. Сам Ленин шел к захвату власти в партии и пытался создать сплоченное ядро профессиональных революционеров... Подготовляя созыв общепартийной конференции, он домогался провести туда нужных ему людей. Вернувшись в Россию, Голощекин оказал громадную услугу Ленину агитацией в рабочих районах и, в частности, на Урале. Конференция собралась в Праге, в 1912 году. Голощекин был на этой конференции, как представитель Москвы. Он тогда же был избран членом ЦК партии. Ему было поручено сделать доклады о работах конференции в Москве и на Урале с назначением его разъездным агентом русского бюро ЦК».

X

Участие Голощекина в цареубийстве описано его советским биографом с присущим всем коммунистическим «историкам» искажением истины. Революционному временному правительству приписана забота о Царской Семье, убиенному императору — участие в попойках. Патриарх Тихон назван обер-прокурором Святейшего Синода. «Когда перечитываешь отчеты уральского окружного военного комиссари-

ата — сказано в биографии — за скупыми официальными строками как бы встают удивительные события, в гуще которых оказался комиссар Голощекин. Одно из них имело значение, выходящее далеко за пределы Урала, получившее отклик во всем мире. Известно, что после февральской революции, под давлением восставшего народа, император всея Руси Николай II вынужден был отречься от престола. Временное правительство с величайшей нежностью отнеслось к царской семье. Николай, его жена, многочисленные чада и домочадцы с еще более многочисленным двором поселились первоначально в одном из царскосельских дворцов. Керенский, когда стал премьером, частенько бывал при дворе, выражая каждый раз свои верноподданнические чувства, и словно бы извинялся за то, что произошло в России. Было задумано перевезти царскую семью в Англию. Все уже подготовили к побегу и лишь бдительность революционных войск и представителей петербургского совета помешала осуществлению заговора. После этого Романовы хоть и не лишились своих огромных средств, известной свободы и всей мишуры двора, однако за ними стали крепко присматривать. Более того, все чаще раздавались требования судить человека, по вине которого пролились реки крови. Опасаясь за безопасность царской семьи, временное правительство решило перевести царя с семьей и всей челядью в отдаленную губернию России. Выбор пал на сибирский город Тобольск. 19-го августа 1917 года три парохода — два пассажирских, «Русь» и «Кормилец», и один буксирный — пришвартовались к причалу тобольской пристани. Необычные пассажиры: семья Романовых, их свита и охрана, прибыли на последнее место жительства. Временное правительство сделало все возможное, чтобы скрасить тяготы ссылки Николая II. Увеселительные прогулки, торжественные богослужения, попойки, вот чем было заполнено пребывание семьи свергнутого императора в Тобольске. Но веселье весельем. Николай и его приближенные устанавливают связи с несколькими тайными группами бывших офицеров, которые поставили себе целью организовать побег Николая Романова за границу. Внутренняя контр-

революция делает имя царя своим знаменем. Для содействия побегу Романовых обер-прокурор Святейшего Синода, архиепископ Тихон, срочно назначает одного из известных монархистов-церковников, епископа Гермогена, архиереем в Тобольск... Начинается цепь интриг, заговоров, тайных действий. Нити из Тобольска тянутся в иностранные посольства, в тайные офицерские организации. Несколько раз лишь чистая случайность мешает осуществить побег Романовых. Весть о великой октябрьской социалистической революции не скоро дошла до далекого Тобольска. Еще в начале 1918 года здесь сохраняется власть губернского комиссара, назначенного временным правительством. Охрану царя несут все те же люди. Прибытие в Тобольск рабочего отряда из Омска, установление здесь советской власти резко меняют положение царской семьи. Бывших властителей Российской Империи переводят на тюремный режим... Однако, не прекращаются попытки спасти «обожаемого монарха». Нужно было сделать выбор: либо судить царскую семью, но тогда было не до организации, либо сохранить все без изменения, то есть рисковать, что белое движение сделает его своим знаменем... Ф. И. Голощекин неоднократно обращает внимание товарищей на серьезность положения и необходимость принятия срочных мер. Правда, Тобольск не входил в сферу деятельности уральского военного комиссара, но президиум уральского совета обратился во ВЦИК с предложением о переводе Романовых в Екатеринбург, но, пока суть да дело, Ф. И. Голощекин посылает три экспедиции в район Тобольска, организует тайные заставы, которые бы отрезали возможные пути бегства Романовых. Сам Филипп Исаевич выезжает в Москву. На заседании президиума ВЦИК он делает доклад о положении дел в Тобольске и о предложениях уральского совета в отношении царской семьи. После недолгого обсуждения члены ВЦИК поняли, что, если Романовы будут оставаться в Тобольске, их безусловно освободят контрреволюционеры... Было решено перевести Романовых в Екатеринбург. ВЦИК возложил на Голощекина личную ответственность за выполнение операции. Во время переезда контр-революционеры

сделали попытки спрятать царя где-то в Башкирии, но попытка не увенчалась успехом только благодаря бдительности комиссара Голощекина. Дом инженера Ипатьева, куда была помещена семья Романовых в Екатеринбурге, получил название дома особого назначения. Распоряжался тут уже новый комендант, комиссар Голощекин... Между тем события назревали. Революционный Екатеринбург оказался в кольце контрреволюционных банд. Необходимо было решить судьбу царской семьи. На одном из своих заседаний областной совет единодушно высказывается за расстрел Николая Романова. Комиссар Голощекин поехал в Москву для доклада центральному комитету партии ВЦИК. Ранее было решено вынести вопрос о суде над Романовым на рассмотрение пятого всероссийского съезда советов. Однако доклад Голощекина о развитии событий на Урале и ходе военных действий диктовал иные меры. Решили к концу июля подготовить в Екатеринбурге сессию суда над бывшим царем. Революция должна была защищаться и ее верный сын, уральский комиссар Филипп Голощекин, без колебания выполнил свой долг. Положение на Урале становилось все более тяжелым... В этих условиях областной совет, заслушав сообщение командующего северо-урало-сибирским фронтом о критическом положении Екатеринбурга, принимает решение о расстреле бывшего царя. 16-го июля приговор был приведен в исполнение».

x

Так мнение Н. А. Соколова об исключительном, первенствующем участии Голощекина в подготовке и осуществлении цареубийства подтверждено в 1964 году самими большевиками. Они же — в биографии Голощекина — прямо указали на то, что в Москве этот убийца был связан, прежде всего, со Свердловым.

«Сообщение Голощекина о расстреле царя — сказано в той же книге — было получено в столице в тот момент, когда на заседании совнаркома обсуждался проект закона о здравоохранении. В зал неожиданно вошел Я. М. Свердлов. Подойдя к Владимиру Ильичу, он что-то сказал ему вполголоса. «То-

варищ Свердлов просит голоса для сообщения», объявил Владимир Ильич. Свое краткое сообщение Яков Михайлович закончил тем, что президиум ВЦИК постановил одобрить решение уральского совета о смертном приговоре царю. Владимир Ильич тут же предложил возвратиться к обсуждению вопроса о здравоохранении, сказав: «Перейдем теперь к постатейному чтению проекта».

x

Палач не избежал заслуженной кары. Он благополучно пережил ежовщину, но погиб в самом начале второй мировой войны. «Трагический день 15-го октября 1939 года — написал его советский биограф — застал Филиппа Исаевича на посту главного государственного арбитра. Бывший комиссар стал жертвой клеветы и произвола, но имя его не стерлось в памяти народной».

Действительно, имена Голощекина, Свердлова и Юровского не забыты и никогда не будут забыты русским народом. Праведная кровь екатеринбургских мучеников никогда не перестанет обличать их жестокое злодеяние.

СОВЕТСКАЯ ВЕРСИЯ

Существует советское описание убийства императора Николая Александровича и его семьи. Оно составляет одну главу четвертой части подробного рассказа об их судьбе с февраля 1917 года до трагической гибели в июле 1918 года, написанного сотрудником журнала «Звезда» М. Касвиновым и опубликованного этим журналом в 1972 и 1973 годах. Насколько я знаю, это произведение коммунистического «историка» за рубежом почти никому не известно. Озаглавлено оно «Двадцать три ступени вниз», по числу ступеней, ведущих в подвал со второго этажа Ипатьевского дома в Екатеринбурге, где царская семья была расстреляна. Он существенно дополняет то, что поработившая Россию коммунистическая партия сообщила об этом преступлении. Ввиду его документального значения, я не стану его пересказывать, а приведу содержание текстуально.

x

«С утра 12-го июля 1918 года в здании Волжско-Камского банка в Екатеринбурге заседает исполком Уральского совета. Председательствует Александр Георгиевич Белобородов, в прошлом — электромонтер Надеждинского завода. Ему 27 лет. В партию большевиков он вступил 16-летним. За революционную деятельность приговаривался царским судом к тюремному заключению. Заседание проходит напряженно. Выступления ораторов исполнены страсти. Реплики резки, подчас неистовы. Решается участь бывшего царя. Воображению сегодняшних западных авторов это заседание рисуется зловещим, почти апокалипсическим. На самом же деле стояло

погожее летнее утро. В сиянии яркого солнца цвели екатеринбургские сады и скверы, блестели пруды и озера, серебряной оправой обрамляющие старинный уральский город. Сколько времени длилось заседание в банковском зале не мог бы, наверное, сказать никто из его участников. Уже далеко за полдень Белобородов встал и объявил голосование. Исполнительный комитет единогласно утверждает приговор. Пятеро членов президиума скрепляют его подписями.

Кому поручить исполнение приговора? Председательствующий говорит, что возвратился с фронта Петр Захарович Ермаков, верх-исетский кузнец, в боях против дутовцев командовавший рабочим отрядом. Достойный, всеми почитаемый уральский ветеран. Отец троих детей. На любом посту, доверенном революцией, не позволяет ни себе, ни другим послаблений или колебаний. Вызвали Ермакова. Согласился. Попросил в помощь себе А. Д. Авдеева, бывшего коменданта Дома особого назначения, и Я. И. Юровского, коменданта нынешнего.

16-го июля Романовы и их слуги легли спать, как обычно, в половине одиннадцатого вечера, а в половине двенадцатого явились в особняк двое особоуполномоченных Уральского совета. Они предложили Ермакову и Юровскому приступить к исполнению приговора, вручив им подписанный членами президиума документ. Группа вооруженных рабочих, сопровождаемая уполномоченными совета, поднимается около полуночи на второй этаж. Ермаков и Юровский будят спящих, предлагают им встать и одеться. Юровский объявляет Николаю, что на Екатеринбург наступают белые армии, в любой момент город может оказаться под артиллерийским обстрелом. Следует всем перейти с верхнего этажа на нижний.

Один за другим выходят в коридор семь членов семьи Романовых и четверо приближенных — Боткин, Харитонов, Трупп и Демидова. Они спускаются за Авдеевым вниз. Выйдя во двор, поворачивают к входу в нижний этаж и переступают порог угловой полуподвальной комнаты. На стенах обои в косую клетку. На окне — массивная металлическая решетка.

Пол цементный. После того, как все вошли в эту комнату, стоявший у входа комиссар юстиции Юровский выступил вперед, вынул из нагрудного кармана гимнастерки вчетверо сложенный лист бумаги и, развернув его, объявил: «Внимание! Оглашается решение Уральского совета рабочих и солдатских депутатов» и сразу после этого под низкими сводами загремели выстрелы. В час ночи 17-го июля все было кончено, а белые армии рвались к Екатеринбургу. Рабочий Урал решил не отдавать Романовых в руки контрреволюции ни живыми, ни мертвыми, а предать огню и развеять по ветру их останки.

Ермаков знал уральский край. В молодости он исходил с охотничьим ружьем ближние и дальние окрестности Екатеринбурга. С тех давних лет запомнилась ему в этой округе деревушка Коптяки. Полукругом обступил ее вековой бор, сплошняком уходящий отсюда в бескрайнюю урало-сибирскую лесную сторону. Из города дорога идет сюда через Верх-Исетск, полем и лугами, потом дремучей лесной чащей до самой деревенской околицы. Кто едет сюда из города, может, не доезжая пяти верст до деревни, увидеть слева от дороги урочище Четырех Братьев. Когда-то тут добывали железную руду — из шахт и открытым способом, потом месторождение забросили. На месте открытых разработок образовались пруды, а где были шахты — остались глубокие ямы. В урочище Четырех Братьев и вывез Ермаков останки Романовых.

Перед рассветом 17-го июля тела казненных были вынесены во двор и уложены в кузов грузовика. Сопровождаемый уполномоченным совета и конным отрядом, с Ермаковым в кабине, грузовик через спящий город направился в урочище Четырех Братьев. Здесь тела казненных были сожжены. Давно унесен ветрами пепел из урочища, а некоторые западные авторы до сих пор продолжают сочинять всякие небылицы по поводу казни Романовых. Утверждают, например, будто исполнителями приговора Уральского совета были в подавляющем большинстве не русские, а мадьяры, австрийцы, немцы, латыши. В действительности, все участники опе-

рации были русские граждане, в основном рабочие и революционные активисты — в их числе Ермаков, Ваганов, Юровский, Авдеев и другие — а также молодые рядовые бойцы: Александр Костоусов, Василий Леватных, Николай Портин и Александр Кривцов.

В то время, как пылал костер в урочище Четырех Братьев, наступила развязка и для обитателей Напольной школы в Алапаевске. Здесь, в шести комнатах просторного кирпичного здания, поставленного под вооруженную рабочую охрану, с мая 1918 года размещались семеро Романовых: великие князья Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Иван Константинович, Константин Константинович, князь Палей, великая княгиня Елизавета Федоровна и Елена Петровна, жена Ивана Константиновича, дочь сербского короля Петра. Стремительное продвижение белых к этому городу вынудило Алапаевский совет в середине июля принять такое же решение, какое было принято Екатеринбургским советом в отношении царской семьи. В ночь с 17-го на 18-ое июля, через 24 часа после казни царской семьи, к зданию Напольной школы на окраине Алапаевска прибыла конная группа рабочих Невьянского и Верхне-Синячихинского заводов во главе с рабочим-большевиком Петром Старцевым. Заключенные были усажены в экипажи, вывезены в лесистую местность за Верхне-Синячихинским заводом и здесь расстреляны.

Месяцем раньше нашел свою могилу на Урале и Михаил Романов, брат Николая Второго. С весны 1917 года он жил неприметно в Гатчинском дворце. В ноябре 1917 года он явился в Смольный и обратился к В. Д. Бонч-Бруевичу, управляющему делами совнаркома, с просьбой каким-нибудь образом легализировать его положение в советской республике. Бонч-Бруевич оформил на бланке совнаркома разрешение Михаилу Романову на свободное проживание в России в качестве рядового гражданина. В феврале 1918 года, когда общая ситуация резко изменилась, Михаил Романов решением Петроградского совета был выслан на жительство в Пермь. Его вольготная жизнь в центре города, в роскошных комнатах

гостиницы «Королевская», с секретарем, поваром и шофером, возмущала рабочих. Многие открыто выражали свое негодование. На заводских собраниях и митингах послышались требования отправить Михаила в тюрьму или казнить его. С митинга на Мотовиловском заводе поступила в Пермский совет резолюция: если органы власти не посадят Романова под замок, население само с ним разделается.

Так оно и случилось. В ночь на 13-ое июня 1918 г. в гостиницу «Королевская» пришла группа неизвестных. Они увели с собой Михаила, вывезли за город и в шести километрах от Мотовилихи, за нефтяными складами, в зарослях кустарника, расстреляли. Как было установлено, Михаила Романова казнили местные рабочие А. Марков, В. Иванченко, Н. Жуков и К. Колпашников. Возглавил группу председатель Мотовилихинского поселкового совета Г. Ш. Мясников. Четверо великих князей были казнены в Петрограде в январе 1919 года, в дни красного террора, которым республика ответила на белый террор».

x

Это советское описание судьбы монарха, его семьи и других членов династии подтверждает в основном то, что было установлено судебным следователем Н. А. Соколовым и сообщено его книгой «Убийство Царской Семьи». Оно категорически и ясно опровергает утверждение, что кому-либо из них удалось избежать смерти, с одним только исключением — княгиня Елена Петровна в Алапаевске расстреляна не была. Ее спасла принадлежность к сербскому королевскому дому.

Обращает на себя внимание неоднократно повторенное М. Касвиновым утверждение, что совершенные в Екатеринбурге, Алапаевске и Перми преступления были вызваны постановлениями местных, провинциальных советов и даже, в случае великого князя Михаила Александровича, отношением населения к их жертвам. Вопреки очевидности, Касвинов возлагает всю вину за эти убийства на русский народ, отрицая причастность иноземцев к смерти императорской семьи. Меж-

ду тем, в книге Соколова (стр. 110-111) приведен полный именной список 72 красногвардейцев, с 17-го мая 1918 года стороживших царскую семью. Начальник этого отряда — Родионов — был русским, но по меньшей мере 60 стрелков были латышами. О внутренней охране Ипатьевского дома Соколов на 121-ой странице написал: «Ее составили рабочие местной фабрики братьев Злоказовых. Выяснить ее состав не представило затруднений». Из них девятнадцать были русскими, а двое — поляками. Возглавлял ее упомянутый Касвиновым Александр Авдеев, непосредственный участник убийства царской семьи, 35-летний бывший слесарь. Соколов, на 124-ой странице своей книги, назвал его «самым ярким представителем отбросов рабочей среды, типичным митинговым крикуном, крайне бестолковым, глубоко невежественным, пьяницей и вором».

Первоначально Авдеев был комендантом Ипатьевского дома, но в начале июля 1918 года им стал Юровский. Злоказовские рабочие из внутренней охраны стали внешней, а помощник коменданта, 28-летний Александр Мошкин, был арестован. Ближайшим помощником Юровского стал некий Никулин, имени которого Соколов не установил.

В расстреле царской семьи участвовали 11 человек, в том числе Юровский, Ермаков и Авдеев. Семеро были латышами. В доме и в подвале, где этот расстрел состоялся, были обнаружены после вступления белых войск в Екатеринбург надписи на немецком и венгерском языках, но были ли их авторы участниками преступления установить не удалось.

Касвинов полностью подтвердил сообщенное Н. А. Соколовым уничтожение останков царской семьи, но не упомянул причастности к нему областного комиссара Войкова, приказавшего управляющему аптекарским магазином Мецнеру «немедленно и без всякой задержки и отговорок» выдать служащему комиссариата Зимину сначала пять пудов серной кислоты, а затем дополнительно, еще три кувшина. Эта серная кислота помогла убийцам уничтожить трупы жертв.

x

Значение сообщения Касвинова о судьбе императора Николая Александровича, его семьи и других членов Дома Романовых не в нескольких ранее не известных подробностях кровавых преступлений, совершенных коммунистическими захватчиками власти в России, а в том, что его рассказ бесповоротно опровергает притязания самозванцев и самозванок, выдававших себя и, в некоторых случаях, все еще выдающих себя за убиенного монарха, его семью и ближайших родственников. Косвенно, эти лжецы пытаются оправдать тех, кто — как Свердлов и Голощекин — задумали и постановили смерть Екатеринбургских и Алапаевских жертв, или — как Авдеев, Ермаков, Юровский и другие — непосредственно участвовали в этом злодеянии. Настанет день, когда освобожденная Россия заклеймит не только палачей, но и тех, кто — по тем или иным соображениям — пытался опровергнуть их страшную вину.

СОДЕРЖАНИЕ